

Генна Сосонко

Я знал Капабланку...



Санкт-Петербургская Академия
шахматного и шашечного искусства



ГЕННА СОСОНКО

Я знал Капабланку...

Издательство «Левша»
Санкт-Петербург
2001

ISBN 5-93356-012-X

Генна Сосонко. Я знал Капабланку... - СПб.: Изд-во «Левша. Санкт-Петербург», 2001. – 208 с.

Санкт-Петербургская Академия шахматного и шашечного искусства выражает глубокую благодарность главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Анатолию Яковлевичу Когану за помощь в издании этой книги.

*Геннадий Несис,
заслуженный тренер России*

Авторы фотографий: Мариетта Хилсон, Найджел Девис, Борис Курхинен, а также фотографии из архива Бориса Турова, архива New in Chess, личного архива автора.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 5-93356-012-X

© Генна Сосонко, 2001

© Издательство «Левша. Санкт-Петербург», 2001

ДВЕ ЖИЗНИ

18 ноября 2001 года моя жизнь разделится на две равные половины. Первая прошла в Петербурге, который тогда назывался Ленинградом. Вторая – в Амстердаме. Хотя оба эти города похожи, Петербург и Амстердам не накладываются у меня один на другой. Нева и Амстел для меня разные реки, и если мне случается идти по амстердамской Царь Петерстраат или по Невскому проспекту мимо голландской церкви в Петербурге, второе зрение регистрирует этот факт, но разницу между обоими городами я вижу очень хорошо. Так ребенок, растущий в двуязычной семье, знает, с кем и на каком языке говорить.

Пятый номер трамвая не изменил своего маршрута и останавливается возле моего дома в Амстердаме так же, как он делал это в моей прошлой жизни в Ленинграде, но и здесь путаницы у меня не возникает. Номер моего дома в Басковом переулке был 33. Первые десять лет в Амстердаме я жил в доме под номером 22, последующее десятилетие – 11. Несколько лет назад, пытаясь уйти от судьбы, я переехал в дом с мало что говорящим номером 16.

Иностранцы, приезжавшие в Советский Союз, обычно находили самым привлекательным в Ленинграде – Санкт-Петербург. Сейчас Ленинград вновь стал Петербургом, оставшись Ленинградом разве что для немолодых обитателей его, проживших большую часть жизни в Ленинграде и привыкших к этому названию. И еще в шахматах: ленинградский вариант голландской защиты удивительным образом переплел в себе оба места моего проживания.

Хотя звуки от порывов ветра и барабнящего дождя на Неве или на Амстеле мало отличаются, переезд из Ленинграда в город, где я живу сейчас, явился для меня большим, чем географическое перемещение в пространстве. Этот переезд означал для меня начало новой жизни.

Слово «голландский» вошло в мою жизнь рано, фактически с тех пор, как я себя помню. Вглядываясь в прошлое полувековой давности, хорошо вижу маму, декабрьским вечером сорок восьмого года греющую руки у печки-голландки. Рядом с голландской печью стояла оттоманка, на которой я спал. Мы жили тогда вчет-

вером – с бабушкой и сестрой в двадцатипятиметровой комнате коммунальной квартиры, но эта комната совсем не казалась мне маленькой. Кроме нас в этой квартире жили Канторы, Гальперины и Левин-Коганы. Единственной русской была молодая женщина – Люда, но и та носила фамилию Саренок. В первые месяцы в Голландии, когда я рассказывал о своем жилье, меня почти всегда спрашивали: «А сколько спален у вас было?» Я быстро понял, что правдивый ответ никак не вписывается в представления моих слушателей, и отвечал по настроению: когда – две, когда – три.

Помню себя мальчиком в гастрономе на углу улиц Некрасова и Восстания в очереди у кассы, чтобы пробить чек на покупку голландского сыра. Вижу себя и в роли советчика в магазине «Вонторг» на Невском, рядом с кинотеатром «Художественный», где мама долго примеряла шляпку, которую почему-то называла голландкой. Кокетливая, с искусственными цветочками, она была возвращена в магазин через несколько часов после покупки, а мне было выговорено: «Как же ты мог посоветовать такое, я ведь уже не девочка».

В студенческие годы я пять лет кряду ходил на географический факультет Университета мимо треугольного островка – Новая Голландия – с его замечательной аркой строгой серой красоты. На островке размещалась одна из резиденций Петра Первого, и царь всегда останавливался здесь, когда посещал Галерную верфь, на которой работало немало голландских мастеров. Он думал об Амстердаме, когда основал свой город почти триста лет назад.

Петр Первый взял с собой из Голландии в русский язык множество слов, связанных, главным образом, с морем, оставив голландцам только два русских. Голландский «doerak» далеко не так добродушен, как русский Иванушка-дурачок, в то время как веселый глагол «pietgevaaien» означает в голландском скорее «кутить напропалую», чем русское «пировать». Долгие застолья молодого русского царя и сопровождавшего его многочисленного посольства, стоявшего в Амстердаме несколько месяцев, произвели тогда на голландцев сильное впечатление.

В августе 1972 года в разгаре был матч Фишера со Спасским, один из самых интригующих матчей на мировое первенство за всю историю игры, но мне тогда было не до шахмат: я уезжал из Советского Союза.

Голландия представляла интересы Израиля, не имевшего в то время дипломатических отношений с Советским Союзом, и выездную визу я получал в голландском посольстве в Москве. Оно было расположено совсем близко от Центрального шахматного клуба, дорога в который была мне знакома еще со времен юношеских турниров.

Оказавшись вне пределов Советского Союза, я ощутил себя в положении новорожденного: привычное окружение исчезло, и большой неизвестный мир лежал передо мной. Мне было двадцать девять лет. Когда я уезжал, мне казалось, что для того, чтобы начать новую жизнь, нужно накрепко забыть старую. Это оказалось невозможным. Прерогатива «считать не бывшим» – принадлежала только русскому царю, и еще Персий знал, что, если собака после долгих усилий рвет, наконец, свою привязь и убежит, то на шее у нее болтается большой обрывок цепи.

Мое настоящее стало таковым во многом благодаря прошлому, которое я хотел отместить. На самом деле оно отложилось в памяти и выкристаллизовалось. Но и обратно: прошлое не было бы вызвано из памяти без этого западного периода моей жизни. Более того, если бы не было этой второй, голландской половины жизни, Россия для меня не была бы открыта. Для того, чтобы ощутить Россию, мне надо было уехать из нее, увидеть ее на расстоянии. Чтобы взглянуть на все по-другому, нужны были новые глаза, потому что старые могли видеть только то, что приучились видеть.

Хотя голландская половина моей жизни резко отличается от первой, проведенной в России, она покоится на старой, как слон на черепахе в индийской притче, и их невозможно отделить друг от друга, так же как невозможно услышать хлопок только одной ладони.

В шахматы меня научила играть мама. В центре комнаты прямо напротив печки-голландки стоял обеденный стол, покрытый выцветшей клеенкой. Иногда вечером после ужина на ней появлялась старая картонная доска и мы играли в шашки или шахматы. Доску эту вижу очень хорошо: она была протерта во многих местах; особенно досталось полю g2. Психолог легко установит связь этого факта с моим пристрастием к фианкетированию королевского слона на протяжении всей профессиональной карьеры. Мама всегда открывала партию ходами обеих центральных пешек на два поля. Я, разумеется, следовал ее примеру. Веро-

ятно, этим объясняется моя любовь к пространству и центральной игре, сохранившаяся у меня до сих пор. Шахмат у нас не было; мы играли бумажками, на которых мама написала названия фигур. Однажды за этим занятием нас застал мамин брат дядя Володя и купил комплект шахмат. Голова одного из белых коней вскоре отклеилась от основания, и при игре ее просто клали плашмя на доску. Другой мамин брат, Адольф, умер в начале 1941 года. С таким именем ему было бы нелегко во время войны.

Маму научил играть в шахматы ее отец, мой дедушка, которого я никогда не видел: дедушка Рувим умер за год до моего рождения во время блокады Ленинграда в январе 1942 года от голода. Зима тогда была очень холодная и в помещении было ненамного теплее, чем на улице. Дедушка Рувим лежал в комнате, в которой я прожил всю первую половину моей жизни, больше недели, до тех пор пока бабушке, самой передвигавшейся с трудом, не удалось отвезти его на санках на кладбище, где он и был похоронен в братской могиле.

Хорошо вижу бабушку Тамару, раскачивающуюся перед зажженными свечами и говорящую что-то на непонятном языке. «Бабушка, – спрашивал я ее, – бабушка, ты молишься богу? Почему же ты не идешь тогда в церковь?» – «Вырастешь – поймешь», – отвечала она без затей. Когда я немного подрос, бабушка иногда говорила со мной на идиш; она умерла, когда мне было шесть лет. Мой немецкий – это мой голландский, разбавленный идишем бабушки Тамары с редким вкраплением немецких слов.

У отца была другая семья, и когда у меня спрашивали о нем, я говорил всегда: «Отец с нами не живет». Отношений не было никаких. При заполнении анкет или специальных граф в классном журнале, где требовались сведения о родителях, я всегда испытывал неловкость и завидовал мальчикам, которые говорили об отце с гордостью: «Погиб на фронте». Я видел отца считанное число раз. Последний – в переполненном автобусе на Невском, когда, дав утвердительный ответ на вопрос, выхожу ли на следующей остановке, обернулся и увидел его. Отец меня не узнал – он был очень близорук. На следующий год он умер.

Играя в футбол в Таврическом саду летом 1954 года, я сломал руку. Приговоренный к ношению гипсовой повязки в течение месяца, я стал играть в шахматы. Увлечение это зашло далеко, и

сложные последствия его я испытываю по сей день. Сейчас, почти полвека спустя, когда я уже не играю в шахматы или почти не играю, у меня, случается, болит рука в том месте, где она была сломана тогда. Доктор говорит, что это плод моего воображения и что этого не может быть.

После окончания школы я поступил на географический факультет Университета. Учеба там была необременительной, и для занятий шахматами оставалось много времени. Я специализировался по экономической географии капиталистических стран. Как замечает шахматная Энциклопедия, изданная в Англии, «уже тогда готовя себя к будущей жизни на Западе».

Хотя я был мастером в Советском Союзе, сам я играл редко, больше занимаясь тренерской работой. Одно время я помогал Талю, последний год перед отъездом – Корчному. Мое решение покинуть страну не понравилось властям. На стенде в фойе Чигоринского клуба, уже после того как я уехал, в течение длительного времени висели два объявления. На одном из них под списком команды Ленинграда можно было прочесть: тренер – мастер Г. Сосонко, другое было приказом Спорткомитета о моей дисквалификации в связи с изменой Родине. Они мирно уживались друг с другом до тех пор, пока кто-то не догадался снять первое.

Настоящая профессиональная шахматная карьера началась на Западе. Для краткости я обрубил свое имя, для твердости прибавил в него «н». Заманчиво было оставить свое полное имя, особенно после того, как журналист одной голландской газеты разбил его на две части, придав ему аристократическое итальянское звучание: Генна ди Сосонко. Еще более эффектным было на китайский манер написанное Со-сон-ко на программке сеанса одновременной игры, который я давал где-то в Бельгии весной 1974 года. В обоих случаях я решил, что это будет чересчур.

Гена, который жил в России, и Генна, появившийся на Западе, носят одну и ту же фамилию, но во многом очень разные люди, чтобы не сказать – совсем разные. Надпись, сделанную на книге друга первого периода моей жизни: «Генне, которого помню еще Геной», я совсем не воспринимаю как шутку, и от России я отделен чем-то большим, чем годы и версты.

Через два месяца после того как я обосновался в Голландии, я начал работать в «Schaakbulletin». Журнал этот был предшествен-

ником «New in Chess», в котором появились почти все эссе, составившие эту книгу. Работу в журнале я совмещал с игрой в турнирах. По мере того как росли успехи, первое место заняла практическая игра.

Весной 1973 года со мной разговаривал подполковник Z. Он предложил мне работу – преподавание русского языка на курсах в Гардервейке. На этих армейских курсах учились закончившие высшие учебные заведения молодые люди; курс языка вероятно противника был ускоренным и интенсивным. Сам подполковник превосходно говорил по-русски. Я отказался, объяснив, что мое хобби окончательно стало моей профессией, чем его немало удивил. Взамен зыбкого существования шахматного профессионала он предлагал весьма респектабельное, но даже и такое, оно ограничивало что-то, ради чего я и уехал из Советского Союза. Прощаясь, он протянул мне визитную карточку: «На случай, если вы передумаете». Перебирая недавно старые бумаги, я нашел ее и не сразу определил, к какому периоду моей жизни она относится. Навряд ли она пригодится мне теперь.

Не знаю, как сложилась бы жизнь, если бы я принял его предложение. Очевидно одно: я не увидел бы мир в такой степени, в какой увидел его благодаря моей профессии.

Игра в шахматы на профессиональном уровне требует предельной концентрации, напряжения, полного погружения в другой, искусственный мир. Переход от обычного состояния в мир турнирных шахмат всегда давался мне с трудом, и те, кто знают меня в этих двух состояниях, утверждают, что знают двух разных людей.

Шахматы дали мне очень многое. Этот игрушечный мир – жизнь в миниатюре. В шахматах тоже нельзя взять ход назад, и время на партию тоже ограничено.

Глядя на шахматы сегодняшнего дня, можно сказать, что их настоящее неопределенно, будущее тревожно и только прошлое – блистательно навсегда. Хотя и знаю, что не от большого ума мысли о том, что в старое время небо было голубее, девушки краше, жертвы ферзей эффектней, наконец, люди, бывшие в шахматах, интереснее, не могу отрешиться от мысли – было, было...

«Золотое время шахмат» назвал свою книгу о шахматах первой половины XX века Милан Видмар, но не был ли золотым по

отношению к шахматам весь ушедший век? Не испытали ли бы великие игроки прошлого, глядя на шахматы начала нового века, нечто сродни чувствам Лоренца, создателя классической теории строения атома, который сожалел, что дожил до триумфа квантовой механики и увидел, как зашаталось все сделанное в науке, в том числе и им самим. Из мира романтики, грез и неопределенности шахматы перенесены в суровую правду жизни. Так балерина, оттанцевавшая партию Золушки, оказавшись после спектакля на операционном столе по поводу острого аппендицита, переходит в мир реальности.

Шахматы прошлого с их ореолом таинственности могут показаться наивными и полными ошибок. Но не покажутся ли такими во второй половине ХХI века шахматы начала его? Мы приблизились к раскрытию последней тайны игры: достаточно ли преимущества выступки при правильной игре для победы, что утверждал Филидор, или при идеальном ведении партии получается все же ничья? Но кто может дать гарантию, что эта последняя истина в шахматах окажется интересной? К счастью, у шахмат есть сильные аргументы в свою защиту. Слова Одена: «Поэзия – штука совершенно необязательная. И оправдывает сам факт ее существования только то, что совершенно не обязательно ее знать», – относятся к шахматам в не меньшей степени.

Начиная с 1974 года я играл за команду Голландии против Советского Союза в Олимпиадах и первенствах Европы. Нечего говорить, что эти партии имели для меня совсем другую окраску, чем в матчах Голландии против, скажем, Мексики или Исландии. На Олимпиаде в Буэнос-Айресе в 1978 году Советский Союз встречался в заключительном туре с Голландией, и от исхода этого матча зависело, выиграет ли СССР Олимпиаду. В ночь перед последним туром руководители советской команды уговаривали меня не играть в этом матче. Разговор велся в разных плоскостях, от «возможности получения въездных виз у нас не ограничены», до «не забудь, в конце концов, что у тебя еще есть сестра в Ленинграде», но убедить меня им не удалось. «Я играю за Голландию, а не против Советского Союза», – повторял я не вполне искренне. Короткая газетная строка: в матче СССР – Голландия партия Полугаевского на второй доске закончилась вничью – была мне наградой: после отъезда мое имя не могло появляться в советской

печати. Спортивную газету Ленинграда с сообщением о том, что первое – третье места в чемпионате Голландии 1973 года поделили Энклаар и Зюйдема, я храню до сих пор.

Турнир в Вадинксвейне в 1979 году открывал премьер-министр Голландии ван Ахт. Там же присутствовал и посол Советского Союза Толстикова, бывший в мое время партийным боссом Ленинграда.

«Знаете голландское выражение – “Держите выппел”?» – спросил премьер-министр, желая мне успеха в турнире.

«Ну, вы, ленинградец, марку держите. Марку, говорю, нашу держите, ленинградец», – с нарочитой грубостью вторил ему посол – хрущевского вида, полный, небольшого роста человек. Я не знал, кого слушать, и в расстроенных чувствах начал первую партию с Карповым. Слова «Держите выппел, ленинградец» еще долгое время преследовали меня.

Играя в Олимпиадах, первенствах Европы или просто в международных турнирах, я регулярно встречался с шахматистами из Советского Союза не только за шахматной доской. Большинство из них я знал еще по тому времени, когда сам жил там; некоторые были моими друзьями. Общение с эмигрантом не могло быть одобрено руководителем делегации, почти всегда присутствовавшим на зарубежном турнире, в котором принимали участие советские шахматисты. Встречались мы поэтому, как правило, в квартале или двух от гостиницы, а для прогулок выбирали по возможности отдаленные улицы. На страницах советских газет того времени – можно было встретить выражение «внутренний эмигрант». Под это определение, без сомнения, подходили мои друзья. Для некоторых из них внутренняя эмиграция оказалась слишком тесна, они покинули Советский Союз и живут сейчас в разных странах.

При выезде на межзональные и другие официальные турниры советским гроссмейстерам вручались досье на иностранных участников этих турниров. Досье составлялись обычно студентами шахматного отделения Института физкультуры. В них подробно анализировались как положительные стороны шахматиста, так и его слабости. Получив от моих друзей, я прочел пару раз характеристики на меня самого. Написаны они были толково, и читал я их с большим интересом – всегда ведь любопытно знать, что думают о тебе другие, тем более те, кого ты не знаешь вовсе.

Почти все эмигранты, покинувшие Россию после 1917 года, рассматривали себя скорее Россией, временно выехавшей за границу, чем окончательно оставившими страну. Уезжая из Советского Союза, я знал, что уезжаю навсегда. Таковы были тогда правила игры: государство с трудом и нехотя давало разрешение на эмиграцию (если давало вообще), но эмиграция эта должна была быть полной и окончательной; любая попытка посещения страны после нее была заранее обречена на провал. Я знал, что никогда не увижу ни своих близких, ни моего города. С таким чувством – навсегда – я и прощался с ними, с самим городом – навсегда. Когда в западный период жизни у меня спрашивали, рассчитываю ли я когда-либо приехать в Россию, я отвечал обычно: «Только если Ленинград снова станет Санкт-Петербургом», и даже самые отчаянные фантазеры понимали однозначный смысл ответа.

В конце 1974 года маме не разрешили приехать ко мне в гости в Амстердам, а полгода спустя я даже не предпринял безнадёжной попытки проститься с ней в Ленинграде.

Во второй половине августа 1982 года у меня дома раздался телефонный звонок, и деловой голос, сообщив, что на круизном корабле будет проведен показательный шахматный турнир, предложил мне принять в нем участие. Это не входило в мои планы: для подготовки к турниру в Тилбурге – сильнейшему в мире в то время – оставалось немного времени. Я отказался, но перед тем как повесить трубку, поинтересовался маршрутом корабля. «Балтийское море, – сказал менеджер, – маршрут обычный: Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки». «А потом?» – спросил я. «Потом – Ленинград», – равнодушно сказал он. Я посмотрел на календарь – было 18 августа – десятилетняя годовщина моего отъезда. Я сказал, что подумую.

Друзья и знакомые советовали мне отказаться от поездки, а чиновник из министерства иностранных дел в Гааге, куда я позвонил для консультации, резонно заметил: «Конечно, у вас голландский паспорт, но, неровен час, все может случиться, вам ли не знать этого»... Я сказал себе, что они правы.

Что-то екнуло в груди, когда утром 12 сентября молоденький пограничник у трапа корабля «Леди Астор» бросил мой голландский паспорт в глубокий ящик, выдав мне, как и остальным пассажирам, отправляющимся на экскурсию в Эрмитаж, документ красного цвета. Раскрыв его, можно было прочесть правила по-

ведения для пассажиров круизного судна, и одним из первых пунктов был как раз тот, ради которого я и предпринял поездку: предлагается совершать какие-либо индивидуальные действия, не имеющие отношения к экскурсионной программе.

Интуристовский автобус застыл намертво на Дворцовом мосту, увязнув в густой массе бегущих людей, одетых в спортивную форму. Позже я узнал, причину этого: День бегуна был одним из самых массовых спортивных праздников в Советском Союзе.

Был чудный сентябрьский день, Нева сверкала на солнце, и, оглянувшись, я мог увидеть, посмотрев налево, здание Университета и Кунсткамеры, направо – Ростральные колонны и Петропавловскую крепость. Гид в автобусе не теряла времени даром: «Прямо перед нами – Эрмитаж. Музей располагает одним из крупнейших собраний картин в мире. Эрмитаж был основан...» У здания Эрмитажа меня должна была ждать оповещенная заранее сестра.

Сетчатка глаза, отвыкшая за десятилетие от знакомых с детства контуров, легко впитывала их; удивительное заключалось в звуках: окна в автобусе были открыты и все люди переговаривались на бегу на языке моей молодости. Через четверть часа людская масса схлынула, и автобус тронулся...

Пространство измеряется временем. Оно отделяет сейчас Амстердам от Петербурга тремя часами лета. В Петербурге, как и в Амстердаме, у меня есть свои маршруты для прогулок. Я иду по Невскому, всегда держась одной стороны, так же, как делал, когда был жителем этого города. Дойдя до пересечения Невского проспекта с улицей Восстания, я останавливаюсь на мгновение. На этом месте я стоял с мамой и сестрой в неподвижной толпе холодным мартовским днем 1953 года. Люди стояли всюду – на тротуарах, проезжей части, выступах здания строящейся станции метрополитена, многие плакали. Время было - без пяти минут двенадцать, и вдруг яростно заревели сирены и клаксоны неподвижно застывших машин. Все мужчины сняли шапки, и мама стала развязывать тесемки на моей. Был день похорон Сталина.

Я сворачиваю налево, прохожу несколько кварталов, и вот, на углу – дом. Я поднимаюсь на второй этаж. Ступени лестницы стерты до такой степени, что даже не верится, что они каменные. Квартиры нашей больше не существует. Ее заняли бухгалтерские кур-

сы. Они были там и в мое время – дверь напротив, и на лестничной площадке во время перемен всегда курили повышающие квалификацию бухгалтеры. Кухня нашей квартиры – теперь классная комната. На месте большой плиты, на которой стояли керосинки и примусы и Циля Наумовна обычно тушила вымя, купленное на Мальцевском рынке, – несколько компьютеров. Комната, где я жил, – директорская, на двери табличка с часами приема. Из тех, кто жил когда-то в этой комнате, в живых я один.

Я совершенно спокоен, когда думаю о них, и не потому что знаю: на погосте живучи, всех не оплачешь. Даже тех, для кого ты был частью жизни, и немалой, а для кого-то и жизнью самой. Воспоминания плотно пригнаны в памяти друг к другу, как огромные камни Стены плача. Я скорее радуюсь, когда вдруг возникает еще одно, казалось бы, погребенное навсегда: собрание жильцов квартиры и яростные дебаты по поводу необходимости кастрации общего кота Барсика, ничего не подозревающего и играющего тут же на кухне, или выражение лица Полины Сауловны, глухой старухи, с чувством продекламировавшей мне, шестилетнему, басню «Стрекоза и муравей».

Два блистательных русских писателя двадцатого века жили в этом городе. Оба они покинули Россию. Один в апреле 1919 года кораблем из Севастополя, другой – в мае 1972-го аэрофлотовским рейсом Ленинград – Вена, обычным маршрутом к свободе в то время для тех, кто жил в Ленинграде. Три месяца спустя этот же маршрут проделал и я.

Ни Владимир Набоков, ни Иосиф Бродский никогда больше не вернулись в Петербург. Набоков не внял совету друга – князя Качурина – приехать туда инкогнито и послал вместо себя свое Alter Ego в одном из стихотворений. Бродский так и не собрался приехать, хотя его и приглашали. Раз увидев настоящую Венецию, он навсегда предпочел ее Северной. Как и Набоков, Бродский тоже не раз возвращался в свой город в стихотворениях и эссе, хотя и признавал, что «по безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни».

Глядя из сегодняшнего дня в прошлое, понимаю, что его восприятие претерпело изменения. Я отдаю себе отчет в том, что прошлое стареет с каждым днем, тонет в настоящем и с трудом поддается воскрешению. В действительности мы пишем о том,

каким стало это прошлое в настоящем. Писать о прошлом гораздо легче, чем находиться в нем. Несбывшееся, утраченное, то, что могло осуществиться и не осуществится никогда, делает любое прошлое печально-щемящим. Для того чтобы принять прошлое, требуется мужество примирения с ним, умение увидеть все таким, каким это прошлое является на самом деле, без прикрас, покровов и иллюзий.

Знаю, что память оптимистична: некоторые сцены кажутся мне сейчас, десятилетия спустя, более идиллическими, чем они были на самом деле, или, во всяком случае, менее окрашенными эмоциями момента. Известно, что память умеет не только размывать темные тона дурного или вообще забывать его, но и обладает способностью это дурное скрашивать: даже прошедшие печали со всем не кажутся нам печалью в воспоминании.

«Обходя дворцы и галереи памяти», как говорил святой Августин, я натываюсь иногда на смешное или малозначительное. Мнемозина то и дело уклоняется от магистральных путей, но иногда какой-нибудь ничтожный поступок, шутка или слово, брошенное невзначай, говорят не меньше, чем нотариально заверенные документы.

Бертран Рассел в 88 лет вспоминал Гладстона, которого видел в 1889 году, - тот был глубокий старик. После обеда они – единственные мужчины – остались за столом. Рассел, которому было тогда семнадцать, ожидал услышать что-нибудь божественное. «Это очень хороший портвейн. Интересно, почему они дали его мне в бокале для бордо?» – сказал Гладстон, и этот портвейн, налитый в бокал для бордо, мне ближе, чем все изречения великого англичанина.

«Для переписки», – отвечал мне мальчик на турнире в Индонезии в 1982 году, и лукавую улыбку его я помню до сих пор. Я только что дал ему автограф, и он попросил написать рядом с ним мой адрес.

Вижу Мишу Тяля, закуривающего очередную сигарету и нервным движением зачеркивающего уже записанный было на бланке ход. Вижу излом бровей Левы Полугаевского и его жалобный взгляд перед тем, как он нанес решающий удар в одной из наших партий. От самой партии в памяти остались только расплывчатые контуры, и недавно для того, чтобы восстановить ее, мне пришлось обратиться к помощи компьютера.

Я принадлежу к людям, которые крепки задним умом, и слыш-

ком часто в жизни, равно как и в шахматах, полагался на русское «авось»: вспомнится, образуется. Сейчас я испытываю досаду от того, что многие разговоры с героями книги оказались забытыми. Я сожалею также о том, что вопросы, ответы на которые могли бы быть сейчас интересны читателю, попросту никогда не были заданы. Вопросы эти тогда не приходили мне в голову: мелкая суета дня казалась более важной. Редкие записи тех времен являются неважным подспорьем памяти, а старые фотографии могут только спугнуть воспоминания. Известен парадокс: чем дольше вглядываешься в знакомые черты на фотографиях из далекого прошлого, тем бледнее становится сам образ.

Тех, о ком я написал, нет больше. Как сказать. Я вижу хорошо их лица, мимику и жесты. Я слышу их голоса. Обращение к ним означает: назад по реке Лета, туда, где нет будущего, а есть только минувшее. Туда, где все раз и навсегда расставлено по своим местам: на сухумский пляж к молодому Леве Полугаевскому, к Мише Талю, допытывающемуся у смеющегося Маэстро о том, как именно началась гражданская война в Испании, к Сёме Фурману, низко склонившемуся над транзисторным приемником, к Ольге Капабланка, разглядывающей медальон с изображением последнего русского царя в витрине антикварного магазина на Пятой авеню Манхэттена.

Я помнил, что время творит с людьми то же, что пространство с памятниками: став слишком близко или слишком далеко, рискуешь ничего не увидеть; и то, и другое можно оценить только на расстоянии, со специально выбранной точки. Я старался найти такую точку.

Понимая всю трудность задачи, мне хотелось хотя бы приблизиться к такому изображению их, где «последняя правда высвечивается траурной рамкой», потому что «хрестоматийный, глянце-вый» образ этих людей был бы недостоин их самих и далек от действительности.

Все, о ком идет речь в этой книге, были так или иначе связаны со страной, в которой я прожил первую половину жизни, – Советским Союзом. Так же как невозможно, не повредив фронтона здания XIX века, удалить эмблему с серпом и молотом, нанесенную на него в советское время, невозможно представить себе и всех, о ком идет речь в этой книге, вне того времени, когда на карте мира

преобладал красный цвет несуществующего теперь государства. Шахматы в Советском Союзе, находясь под неослабным вниманием и контролем властей, были неотделимы от политики, как и все в той удивительной стране. Закрытость общества, изолированность его от свободного мира явились причиной того, что талант и энергия зачастую выплескивались в относительно нейтральные области. Эта закрытость и изолированность общества только способствовали развитию шахмат, создав целый пласт культуры - огромный мир советских шахмат.

Тот мир состоял из многочисленной армии профессиональных игроков, официальных и камуфлированных под любителей, тренеров и организаторов. Из того ушедшего навсегда времени – толпы болельщиков, следящих за ходом партий матча на первенство мира по огромным демонстрационным доскам, вывешенным в центре Москвы на здании театра, потому что в зале свободных мест нет. Из того мира – пенсионеры, склонившиеся над шахматной доской на скамейках парков в двадцатиградусный мороз, и бабушки, терпеливо ожидающие внуков с теоретического занятия, где впервые был показан мат Легалья. Из того мира и времени – матчи на первенство мира по шахматам, где события вне доски были вынесены на первые страницы газет, и сама жизнь диктовала либретто для мюзикла, годами шедшего с аншлагами в лучших театрах Лондона и Нью-Йорка. Из того мира – чемпионаты страны, игравшиеся в переполненных концертных или театральных залах. Участие в финальной части первенства было достижением самим по себе, и для многих сильных мастеров так и осталось неосуществимой мечтой. Публика, тонко чувствующая игру, нередко награждала аплодисментами красивую победу или эффектную комбинацию. По несколько часов кряду можно было обмениваться мнениями о позициях на сцене с совершенно незнакомым человеком, расставшись с ним после окончания тура навсегда, или, наоборот, став другом на всю жизнь. В пресс-центре таких чемпионатов можно было встретить мастеров и гроссмейстеров, фамилии которых явились бы украшением любого международного турнира. За бюллетенями, посвященными каждому туру первенства, надо было дежурить у киосков «Союзпечати», а радиорепортажи с турниров передавались по первой программе новостей в спортивном выпуске последних известий.

Имена людей того мира, о которых я написал, были у всех на

устах, и по популярности они не уступали звездам кино. Было бы жаль, если бы имена эти ушли безвозвратно.

Разрозненные детали я складывал бессознательно в копилку памяти. Они сплелись воедино, создав портреты людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. Собранные вместе, эти портреты неожиданно стали для меня итогом и моих личных переживаний за последние годы.

Всякий раз после того, как те, о ком идет речь в этой книге, уходили из жизни, мне хотелось прочесть о них. Позже я понял, что я хочу прочесть о них то, что знаю я сам. Более того – то, что знаю только я. Лишенный этой возможности, я решил написать о них. Отсюда – эта книга.

*Амстердам,
февраль 2001*

МОЙ МИША

«Солнцем полна голова» – первые слова 23-летнего Миши Талья в переполненном московском зале сразу после блистательной победы на турнире претендентов в Югославии в 1959 году. Его ответ на вопрос, как он начнет борьбу за корону, прозвучал, точно знаменитое «иду на вы»: «В первой партии матча с Ботвинником мой первый ход будет e2 – e4!»

В мир строго позиционных шахмат середины 50-х годов ворвался молодой человек, фактически мальчик, с горящими черными глазами и с манерой игры, приводившей в удивление всех. Манерой, которая изумляла одних и шокировала других. То, что писала одна из голландских газет того времени, было характерно для общей реакции всего шахматного мира: «Для шахматиста мирового класса Таль играет удивительно бесшабашно, чтобы не сказать отчаянно и безответственно. Пока успех сопутствует ему, потому что самые опытные и испытанные защитники не выдерживают этого террора на шахматной доске. Он стремится в первую очередь к атаке, и в его партиях нередко жертвы одной или даже нескольких фигур. Об этой отчаянной манере игры мнения резко расходятся. Одни видят в нем не более чем авантюриста, которому просто улыбается фортуна, другие – гения, который открывает неизвестные области шахмат».

Хотя он был уже претендентом, с чемпионом мира Таль виделся только однажды во время Олимпиады в Мюнхене в 1958 году. История о том, как маленький Миша с шахматной доской подмышкой не был принят отдохнувшим на Рижском взморье Ботвинником, конечно, выдумана журналистами. Прогуливаясь между столиками, пока его соперник думал над ходом, чемпион мира спросил у юного претендента: «За что вы пожертвовали пешку?» И получил, по собственному Мишинскому выражению, хулиганский ответ: «Она мне просто мешала». Он любил это словечко и нередко за анализом, предлагая какую-нибудь неясную жертву, добавлял: «А не похулиганить ли немножко?»

Я познакомился с Мишей осенью 1966 года. Он приехал на несколько дней в Ленинград, и в маленькой комнатке одного об-

щего друга мы сыграли огромное множество блицпартий, из которых мне удалось выиграть одну и сделать несколько ничьих. После этого он приезжал еще несколько раз, мы подружились, и уже не было неожиданностью, когда он пригласил меня приехать в Ригу, в его город, чтобы поработать вместе. Через некоторое время ему предстоял матч с Глигоричем. Конечно, для меня тогда это было лестное предложение. Думаю, что, учитывая этот и последующие приезды в Ригу, я пробыл рядом с ним примерно с полгода.

Я приходил к одиннадцати в большую квартиру в центре Риги, и уже через полчаса мы сидели за шахматной доской. Сейчас, спустя четверть века, я понимаю, что варианты – а мы занимались, разумеется, только дебютами – ему были особенно и не нужны. Самое главное (здесь я совершенно согласен со Спасским) для него было создать такую ситуацию на доске, чтобы его фигуры жили, и они действительно жили у него, как ни у кого другого. Самым главным для него было создать напряжение и захватить инициативу, создать такую позицию, где бы духовный момент – дать мат! – преобладал и даже смеялся над материальными ценностями.

Мы тратили массу времени на варианты типа 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Kc3 Kf6 4.Cg5 c5 или на жертву пешки в новоиндийской защите, которую он применил в малоизвестной партии тренировочного матча с Холмовым. Но смотрели и защиту Нимцовича, и испанскую, оказавшиеся основными в его матче с Глигоричем.

Довольно часто приходил Мишин постоянный тренер А.Кобленц (Маэстро – для друзей). Так его почти всегда называл и Миша. За их своеобразной шутливо-ироничной манерой разговора просматривалась долголетняя и искренняя привязанность. «На сегодня достаточно, – говорил Миша. – Блиц, блиц». Жертвуя нам поочередно фигуры (большей частью некорректно), приговаривал: «Неважно, сейчас я ему уроню флаг...». Или в острейших ситуациях, когда у самого оставались считанные секунды, свое излюбленное: «Спокойствие – моя подруга». Я не помню случая, чтобы он играл блиц без видимого удовольствия. Были ли то партии чемпионатов Москвы или Ленинграда, которые он выигрывал много раз, чемпионат мира в Сен-Джонсе в 1988 году или просто пятиминутка с любителем, поймавшим его в фойе гостиницы.

До компьютерного века было далеко, партии Глигорича были разбросаны в разных бюллетенях, и в поисках их Миша часто

натякался на какой-нибудь журнал среди тех, что присылали ему из разных стран мира, и, остановив взгляд на диаграмме, предлагал: «А не посмотреть ли нам вместо этого партии последнего чемпионата Колумбии?»

«Может быть, передохнете немного?» – раздавался голос Мишиной мамы Иды Григорьевны, энергичной, импозантной женщины. Она была старшей из сестер буржуазной еврейской семьи из Риги, которых судьба разбросала по всему свету. В августе 1993 года должно было исполниться 90 ее сестре Риве, живущей с конца 30-х годов в Гааге, с которой Миша почти всегда виделся во время своих частых приездов в Голландию. Молодой девушкой она уехала на полгода в Париж, чтобы совершенствоваться во французском, но судьба повернулась по-другому... Впервые тетя Рива увидела своего знаменитого племянника в 1959 году в Цюрихе, узнав о предстоящем там шахматном турнире. «Он был весь полон энергии, такой искрящийся, – вспоминает она, – и этот худой высокий американец, мальчик совсем, прямо ловил каждое Мишино слово...». Только на два года младше другая ее сестра Ганя, которую хорошо помню еще по Риге, а сейчас она живет в Бруклине, в Нью-Йорке.

Фамилия у Мишиной мамы, умершей в 1979 году, была Таль, как и у его отца: она вышла замуж за своего двоюродного брата. В огромной (по моим тогдашним понятиям) квартире жили: мама Миши, старший брат Миши – Яша, ненадолго переживший мать, сам Миша с подругой, которая эмигрировала в 1972 году и живет, насколько я знаю, в Германии; первая жена Миши – Салли, уехавшая в 1980 году и живущая сейчас в Антверпене, их сын Гера – прелестный мальчик с вьющимися кудрями, сейчас отец троих детей и зубной врач в Беер-Шеве, в Израиле.

Вспоминаю, как Миша встречался у меня дома в Амстердаме с сыном. Время тогда было не такое вегетарианское, и открытая встреча отца с сыном-эмигрантом, даже в присутствии одних только коллег – гроссмейстеров, могла иметь неприятные последствия, например, запрещение выезда за границу на год, два или более (что и пришлось испытать Мише в свое время).

Почти каждый день приходил дядя Роберт, как все его называли, друг отца Миши, врача замечательного, по отзывам всех, кто знал этого человека, умершего в 1957 году. Дядя Роберт – шофер такси в Париже в 20-х годах, потерявший всю семью во

время войны, сам довольно слабый игрок, мог часами следить за нашими анализами и блиц-партиями, глядя на Мишу влюбленными глазами. Иногда он выговаривал Мише за что-нибудь, тот слабо защищался, и Ида Григорьевна, всегда занимая сторону дяди Роберта, говорила: «Миша, ты можешь отвечать нормально? Не забудь, что в конце концов это твой отец». Это было семейным секретом: в действительности дядя Роберт был отцом Миши... Сейчас, четверть века спустя, когда никого из них уже нет в живых, вижу хорошо дядю Роберта с неизменной сигаретой в пожелтевших от никотина пальцах, часто и с рюмкой коньяка, и Мишу, особенно последних лет, так действительно похожего на него обликом, манерой говорить, держаться.

Я во время этих пикировок смущенно отводил глаза, но на меня никто не обращал внимания, считая за своего.

Но вот наступал вечер, и надо было идти куда-нибудь ужинать. Вызывалось такси, и мы ехали в один из ресторанов, где Мишу, конечно же, всегда узнавали. Когда Таль стал чемпионом мира, ему подарили «Волгу» – машину лучшей советской марки того времени. Но он отдал машину брату. К технике любой относился совершенно индифферентно и, разумеется, у него и в мыслях никогда не было учиться вождению. Только в последний период жизни у него появилась электрическая бритва, и следы ее вмешательства можно было заметить там и сям на его лице. В мое же время процедуре бритья подвергал его старший брат, чаще же, как и всегда вне дома, он отправлялся в парикмахерскую. Галстуков не любил и носил только, если к тому принуждали обстоятельства. Надо ли говорить, что завязывать их он никогда не научился. И часов не носил никогда. «Вот еще – тикает что-то на руке!» Время в общепринятом смысле для него не существовало. Помню не один упущенный поезд, а к дням его молодости относится попытка догнать самолет на такси (пользуясь трехчасовой промежуточной посадкой), завершившаяся, по словам очевидцев, полным успехом.

В такси нередко играли в игру, о которой я впервые услышал от него: из четырех цифр номера идущей впереди машины сделать 21 (используя каждую цифру только один раз). Мне было трудно проверить, но в сложных ситуациях он с триумфальным видом оперировал корнями, дифференциалами и интегралами.

За ужином и часто после – пили. Миша не любил и не пил вин,

предпочитая крепкие напитки – водку, коньяк, ром-колу... Чтобы не быть неправильно понятым, скажу сразу, это не было медленное потягивание через соломинку. Лицо бармена в Вейк-ан-Зее при нашей первой встрече вне России в январе 1973 года, когда он должен был налить в один бокал 5 рюмок коньяку, я помню до сих пор. Несколько лет тому назад Миша, уже плохо державший удар, просто заснул в конце банкета в Рейкьявике. С ним, особенно в последние годы, это случалось чаще и чаще. Корчной и Спасский, тоже игравшие там, были тогда в натянутых отношениях. Но делать было нечего, они посмотрели друг на друга: «Понесем, что ли?» – спросил один. «Понесем», – ответил другой. Дорога была неблизкой, но соперники его юности справились со своей задачей превосходно, а ошарашенному портье гостиницы было объяснено, что вот шахматист – долго думал, сильно устал...

Помню прекрасно его искрящийся, всегда мягкий юмор, его смех, заразительный, часто до слез, его мгновенную реакцию в разговоре, его фирменное, обычно за полночь: «Официант! Смените собеседника!» Кажется, Шеридан говорил, что истинное остроумие куда ближе к добродушию, чем мы предполагаем. Мишино остроумие было всегда истинным.

Несмотря на физический ущерб – на правой руке его было только три пальца, – играл на фортепиано, и неплохо. Его первая жена, Салли, вспоминает, что в тот вечер, когда они познакомились, Миша играл этюды Шопена. За несколько месяцев до своего первого матча с Ботвинником спросил у известной пианистки Бэллы Давидович, с которой Таль был особенно дружен, есть ли у нее в репертуаре «Элегия» Рахманинова. Узнав, что нет, сказал: «Обещайте, что после моей победы над Ботвинником вы будете играть эту вещь на заключительном концерте». Тогда в Советском Союзе был обычай после официальной церемонии открытия или закрытия шахматных турниров или матчей устраивать большие сборные концерты. Вечером после 17-й партии, когда счет в матче стал 10:7 в пользу Талья, в квартире Давидович раздался телефонный звонок: «Можете начать разучивать «Элегию»... Сейчас, 32 года спустя, Бэлла Давидович, уже давно живущая в Америке, играя «Элегию» Рахманинова, всегда вспоминает Мишу Талья и тот вечер в Пушкинском театре, когда она играла ее впервые. И композиторами его любимыми были Чайковский, Шопен, Рахманинов.

Летом, уже во время других моих приездов в период подготовки к матчу с Корчным часто отправлялись на Рижское взморье, где ему была выделена дача, вернее, три комнаты во втором этаже домика рядом с пляжем. Сейчас в это трудно поверить, но вижу хорошо Мишу на пляже в солнечную погоду в створе импровизированных ворот (майка и пляжная сумка), азартно, как и все, что он делал, отражающего мои попытки забить гол. Он играл голкипера в университетской команде и привязанность к футболу сохранил навсегда.

Здоровьем он не блистал никогда – и тогда в Риге, и на Взморье у него бывали почечные приступы, нередко вызывалась «Скорая помощь». Он часто бывал в больницах, за свою жизнь перенес двенадцать операций. На лбу его были заметны шрамы – следы жуткого удара бутылкой по голове в ночном баре Гаваны во время Олимпиады на Кубе в 1966 году. (Известна шутка Петросяна тех лет: «Только с железным здоровьем Таля можно было перенести такой удар».) Именно в то время конца 60-х Миша приучился к морфию. Вижу, как сейчас, его исколотые, как в муравьиных укусах, вены на руках и сестер, тщетно пытающихся найти еще нетронутое место. Знаю, что и позже, уже в Москве, «Скорой помощи» было запрещено приезжать на вызовы Таля. Слухи об этом носились тогда по городу. Помню и вопрос на одной лекции «Правда ли, что вы морфинист, товарищ Таль?» И его молниеносную реакцию: «Что вы, что вы, я чигоринец». Я думаю, что этот период длился у Миши пару лет. Как он избавился от этого, я не знаю (догадка: когда получение наркотика грозило перейти легальные границы, нечеловеческая сила его духа и воли сама положила конец этому).

Почему он так играл и почему он выигрывал? Конечно, легко спрятаться за словом талант или гений. Толуш, проиграв партию своего лучшего в жизни турнира в 1957 году, сказал Спасскому: «Ты знаешь, Боря, я проиграл сегодня гениальному игроку». Другой уважаемый гроссмейстер на межзональном турнире в Таско говорил мне без всякой тени кокетства: «Мы все не стоим Мишиного мизинца». И сам Петросян, скупой на похвалы, говорил, что в шахматах он знает только одного живого гения... Но дело не в этом. Или во всяком случае не только в этом. Я не склонен объяснять все корчновским: «Помню, как-то в ресторане он сказал мне: ну, хочешь – посмотрю на того официанта, и он подойдет к нам».

Или недостаточной защитой темных очков Бенко на кандидатском турнире 1959 года. Но то, что весь его облик, особенно в молодые годы, излучал какую-то ауру – это точно. Здесь мы подошли к разгадке, как мне видится, феномена Михаила Талья.

Это склоненное над доской лицо, этот взгляд горящих глаз, пронизывающих доску и соперника, эти шевелящиеся губы, эта улыбка, появляющаяся на одухотворенном лице, когда найдена комбинация, эта высшая концентрация мысли, я бы сказал, напор мысли – создавали нечто, чего не выдерживали слабые духом. Когда же этот дух соединялся с энергией молодости конца 50-х, начала 60-х годов, – он был непобедим. «Ты, Мишик, – говорил ему покойный Штейн в Риге в 1969-м, – сильнее духом всех нас». Он был силен духом, как никто. Даже тогда, когда его организм был разрушен, дух его до конца, до последних дней оставался непреклонен.

В 1979 году после выигрыша крупнейшего турнира в Монреале (вместе с Карповым) 43-летний Таль, уравновешенный и много лучше понимающий шахматы, чем в годы своего чемпионства, сказал: «Сейчас я бы разнес того Талья под ноль». Я сомневаюсь в этом. И не потому, что его любимые поля e6, d5, f5 (по его собственным словам) стали охраняться много строже. Дело в том, что академическому и все понимающему Талю пришлось бы выдерживать концентрацию мысли и напор молодости, которую не выдерживали лучшие из лучших.

Вспоминается летняя Москва 1968-го. Я был тогда секундантом Миши на его матче с Корчным, очень неудобным для него противником, матче, который Таль проиграл – 4,5:5,5. Помню последнюю партию, где Миша черными в голландской создал сильную атаку, мог выиграть, но промедлил, и отложенная позиция не сулила больше ничьей. Бессонная ночь анализа, доигрывание, закрытие, долгое блуждание по Москве, где у него было так много друзей. Его энергия, его неиссякаемая энергия... Помню деревянный домик в самом центре Москвы, неподалеку от Главпочтамта. Там жил художник Игин, покойный теперь уже давно, друг многих шахматистов, заглядывавших к нему в любое время дня и ночи. Художники, поэты, молодые актрисы, богемная Москва 60-х, 70-х годов, сам живописный хозяин, говоривший о себе коротко: «Я – старый коньячник». Наконец, последний самолет

Москва – Рига, нет билетов, но Мишу узнали, и мы в кабине пилотов летим в Ригу. Ночь, квартира Миши, и вот я, уже ничего не чувствуя, засыпаю. Когда я проснулся утром, комната была сиза от сигаретного дыма, и где-то в отдалении с дивана на меня смотрел Миша, и толстая книга в его руках была почти прочтена. Читал он исключительно быстро, и я, находясь уже в западном сегменте моей жизни, знал, что, отправляясь куда-нибудь на турнир, надо взять с собой побольше книг, запрещенных тогда в Советском Союзе. На Олимпиаде в Ницце в 1974 году я дал ему вечером только что вышедший «Архипелаг Гулаг» Солженицына и свежий номер русской эмигрантской газеты. Наутро, возвращая мне все уже прочитанным, сказал: «Вот в газете, в кроссворде не мог найти одного слова». – «Ну а книга-то, книга?» – «Очень уж зло пишет». Тогда мне, пораженному ответом, явилось смутно объяснение, еще один аспект, раскрывающий личность Михаила Таля. Дело в том, что по большому счету его это не интересовало, он от этого как бы отстранялся.

Вспоминаю, как после одного из турниров в Тилбурге разделял с ним так им нелюбимую процедуру покупок. Пятигульденовые бумажки лежали в его карманах (надо ли говорить, что кошелька у него никогда не было) вперемежку с тысячными, и помню его искреннее удивление, когда он обнаружил еще одну такую в одном из боковых карманов. А сколько было потерянных призов, сколько паспортов, оставленных в гостиницах или попросту забытых где-то... Помню его поверх меня направленный взгляд, когда в гостинице в Таско я выговаривал ему после того, как он заплатил 70 долларов за трехминутный разговор с Нью-Йорком. Вряд ли доходили до него мои рассуждения, что в некоторых странах следует избегать телефонных разговоров из гостиниц. Белявский рассказывал мне, что когда он распекал Мишу за отдачу почти всего многотысячного приза за выигрыш чемпионата мира по блицу в Сен-Джоне в Спорткомитет, тот отвечал просто: «Ну, меня попросили, я и отдал...»

Его, конечно, не интересовали звания и награды. Я думаю, что и звание чемпиона мира его по большому счету не интересовало. И уж совсем не интересовали карьера, власть или выгода (или то, что понимают под этим словом его коллеги по чемпионскому званию последних лет). И в отличие от них его невозможно представить членом какой-либо партии вообще...

Хотя он в последнее время бывал в Израиле, думаю, что и его еврейство интересовало его постольку поскольку. Вспоминаю, как однажды перед одной из Олимпиад «Правда» писала, что в команде Советского Союза играют представители разных национальностей: армянин Петросян, русский Смыслов, эстонец Керес, рижанин Таль...

Даже он сам, его здоровье, его внешний вид интересовали его мало, так же мало, как и то, что о нем подумают другие. Он был человеком с другой планеты, и единственное, что его интересовало по-настоящему, – были шахматы.

Он принадлежал к той редкой категории людей, которые как нечто само собой разумеющееся отделились от себя все, к чему стремится большинство, прошли по жизни легкой походкой – избранники судьбы, украшение Земли. Сжигая жизнь, он знал, что это – не генеральная репетиция, что другой – не будет. Но жить по-другому не хотел и не умел.

В январе 1973 года я играл свой первый турнир после отъезда из России в резервной мастерской группе в Вейк-ан-Зее. Миша, игравший в главном турнире, появлялся каждый день в общем зале (тогда гроссмейстерская группа размещалась особняком) и, изучив мою позицию, переходил к другим партиям, а частенько и к партиям других групп (со средним рейтингом где-то в районе 1900). Мы говорили тогда нередко до глубокой ночи, и иногда я отправлялся пешком из Вейк-ан-Зее в Бевервейк (бывалые игроки Хооговен-турнира поймут, что я имею в виду), потому что автобусы уже не ходили, или правильнее будет сказать, еще не ходили. В свободный день был большой блицтурнир для всех желающих, который длился целый день и который Миша выиграл (для сведения современных профессионалов: первый приз был 100 гульденов...).

Одним из его любимых выражений было: «Он играет во вкусные шахматы». И сам играл в такие. В комментариях к собственным партиям преобладали так редко встречающиеся теперь добродушие, уважение к партнеру и самоирония. Комментируя партии, писать не любил, предпочитая показывать, наговаривая текст на магнитофон. В старое же время просто диктуя. Так он познакомился со своей женой Гелей осенью 1970 года, когда его не допустили до игры по каким-то формальным причинам в чемпионате страны, который проводился в его Риге.

Записывал ход всегда краткой нотацией, всегда перед тем, как его сделать. В редких случаях, когда соперник попадался уж совсем любопытный, открыто заглядывавший в его бланк, закрывал ход ручкой. Если ход не нравился, то зачеркивал и писал новый. В последние годы, увы, все чаще говорил: «Я даже записал на бланке выигрывающий ход, но перечеркнул в последний момент».

Где-то за полтора–два часа до партии что-то ел, но больше для проформы, говорил уже мало, уходил в свой мир. Так было, например, во время его матча с Корчным, и я понимал: в такие моменты его лучше не трогать. Обедали в разных местах; до матчей, где все выверено до минуты и калории, еще было далеко... Обо-жал, разумеется, все, что было ему нельзя: острое, соленое, печеное. Миша, каким я его помню, курил всегда очень много, обычно 2-3 пачки сигарет в день (предпочитая Kent), но когда играл, к ним приплюсовывались еще две.

В последний раз я видел Мишу в Тилбурге осенью 1992 года. Он приехал из Германии, где жил последнее время с женой и дочерью Жанной, которую очень любил. Выглядел он ужасно, много старше своих лет, но оставался самим собой. Отвечая на приветствие одного из знакомых, сказал: «Спасибо» – «За что?» – «За то, что вы узнали меня». Он сидел обычно в пресс-центре турнира с неизменной сигаретой, говорил мало, но каждое его замечание по части шахмат было всегда по существу. Оживился несколько, когда в своей обычной манере показал слушателям Академии Макса Эйве одну из своих последних партий — с Панно из турнира в Буэнос-Айресе. Молодые люди начала 90-х смотрели на него, как на Стаунтона или на Цукерторта. Было чудо не то, что он живет, а то, что он не умер ранее.

Он играл еще в последнем чемпионате Союза и написал потом (вместе с Ваганяном, с которым был особенно близок в последние годы) большую статью для нашего журнала. В феврале, когда я был в Каннах, меня попросили позвонить ему. «Слушай, – сказал Миша, – я сейчас читаю о матчах на мировое первенство, которые я сам видел вблизи. Все было не так, все было по-другому. Приезжай, напишем что-нибудь вместе». Обещал. Но как-то все откладывалось и откладывалось...

Последний свой турнир Миша играл в Барселоне. Были молодые и многообещающие. Шутил в свое время о подающих надеж-

ды: «Я в таком возрасте был уже экс-чемпионом мира». Полтурнира играл совсем больным, с температурой. В последней партии, полагая, что будет быстрая ничья, сыграл в сицилианской защите 3.Сb5, предложил ничью, получил отказ. В проигранной позиции, уже под атакой его молодой соперник сам предложил ничью. Это была последняя выигранная Мишей турнирная партия.

Мы перезванивались довольно часто, а за пару дней до моего отъезда на Олимпиаду в Манилу получил Мишино письмо. Вот оно:

«Дорогой Гена! К сожалению, обещанного рассказа о турнире пока не сделал — очень неважно себя чувствовал. В понедельник лечу в Москву на повторное свидание с медиками. Скорее всего, будет операция. Как бы там ни было, свободного времени, а также записывающих устройств будет достаточно... Во всяком случае, желаю всяческих успехов тебе и всей вашей наименее русифицированной (скажем так) команде.

С сердечным приветом. Миша».

Это был последний привет, который я получил от него. Перед тем, как лечь в больницу, уже совсем больным играл в блицтурнире в Москве и выиграл партию у Каспарова и занял третье место после Каспарова и Бареева, но опередил и Смыслова, и Долматова, и Выжманавина, и Белявского. Несколько дней спустя, 28 июня 1992 года, Миша Таль умер в московской больнице. Официальная причина его смерти: кровотечение в пищевод. Но фактически отказывался функционировать весь его организм. Его похоронили в Риге, городе, где он родился, на еврейском кладбище Шмерли, рядом с могилами его близких. Ему было 55 лет. Он выглядел в последние годы старше своего возраста, но никогда не ассоциировался у меня с пожилым человеком, оставаясь всегда Мишей.

Иногда я спрашиваю себя: откуда у этих мальчиков из пристойных европейских еврейских семей, похожих друг на друга даже внешне — Модильяни, Кафки, Таля, откуда эта всепоглощающая страсть к самовыражению? Где здесь тайна? Я не знаю этого.

За несколько лет до своей смерти Вильгельм Стейниц сказал: «Я не историк шахмат, я сам кусок шахматной истории, мимо которого никто не пройдет». Тот, кто когда-либо касался или коснется удивительного мира шахмат, не пройдет мимо светлого имени: Миша Таль.

Я знаю – есть большая разница между гением в искусстве и гением в повседневной жизни. Я, которому выпала привилегия видеть Мишу Таля вблизи, попытался немного рассказать об этом. А за гения шахмат Михаила Таля, за незабвенного Мишу, говорят его партии.

Август 1992

ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ

Единственную партию с Ботвинником я играл весной 1989 года. Он был тогда в Голландии с целью покупки нового, более сильного компьютера, необходимого для работы, и все это время я был рядом с ним. В один из дней Ботвинника попросили выступить на закрытии юношеского чемпионата страны, который проходил тогда в Хилверсуме. Были, конечно, и фотографы, и телевизионные съемки. В какой-то момент режиссер телепередачи попросил: «Если господин Ботвинник не возражает, нам бы очень хотелось снять его во время игры». – «Ну, я давно уже не играю». – «Очень просят, Михаил Моисеевич. Вы же сами знаете – телевидение, от них не отвяжешься». – «Ну, если так...»

Расставили фигуры – мне достались белые. «Начинаем, начинаем», – подал команду режиссер. Я решил не оригинальничать и двинул вперед ферзевую пешку. Стрекот камеры, где-то голоса детей. Ботвинник не отвечал некоторое время, и я вопросительно посмотрел на него. Изменился весь его облик, он как бы выпрямился, затвердел на стуле, наконец, глядя на доску, поправил очки, галстук и сделал ответный ход. К сожалению, тогда в суете момента я не записал партии, но течение ее помню очень хорошо. Он разыграл голландскую, вариант «каменная стена», по старинке со слоном на e7.

Я делал все известные ходы, Ботвинник отвечал не торопясь, всегда несколько подумав. Но после пятнадцати ходов по какой-то странной причине моя позиция потеряла эластичность, был утерян генеральный план: я стоял несколько хуже. «Этого достаточно?» – спросил я у режиссера. – «Более чем». Ботвинник думал над своим ходом. – «Михаил Моисеевич, он говорит, что наснимал довольно».

Ботвинник все еще смотрел на доску и наконец поднял голову. На меня не мигая и жестко смотрели синие, выцветшие уже глаза, с астигматично расставленными зрачками, которые глядели так же в глаза Ласкера, Капабланки и Алехина, и он знал хорошо оценку позиции на доске и знал, что я тоже знаю.

«Он говорит, Михаил Моисеевич, что все получилось очень хорошо». Что-то растаяло в его лице, и уже режиссеру с легким полупоклоном: «*Alstublieft meneer. Tot u dienst*»*. Бывая часто в

* «Пожалуйста, господин. К вашим услугам». – голл.

Голландии (в первый раз в 1938 году), Ботвинник знал несколько выражений по-голландски: его английский и немецкий были довольно слабы.

Я познакомился с Михаилом Моисеевичем Ботвинником весной 1988 года, когда он приехал по приглашению Бессела Кока на один из первых турниров SWIFT в Брюссель. Мы виделись каждый год во время его посещений Амстердама или Брюсселя или в Москве, в последний раз во время Олимпиады в декабре 1994 года, за полгода до его смерти. Теперь я жалею, что не было у меня экскермановских задатков, и я не записал всех бесед с Ботвинником, но многое еще свежо в памяти и, к счастью, на магнитофонной ленте.

В один из его первых приездов в Амстердам, в гостях. женщина-москвичка, по возрасту где-то уже в середине четвертого десятка, увидев перед собой живого Ботвинника, представилась растерянно: «Оля». – «Ну, если вы Оля, я – Миша», – в тон ей ответил Ботвинник. Сказал ему через несколько минут в шутку: «Ну, Миша, пора уже, засиделись...».

На следующий день он подарил свою книгу с надписью, сделанной дрожащим, но ясным почерком. «Гене Сосонко – Миша Ботвинник в день рождения. Амстердам. 18.5.89». Так и называли друг друга несколько дней, но шутка не перешла в привычку, и скоро вернулись к Михаилу Моисеевичу и Геннадию Борисовичу. И только в некоторых случаях возвращался к «Гена», когда хотел сказать что-то доверительное или особое. Я же – при прощаниях и тогда, когда пытался (всегда безрезультатно, впрочем) снять налет многих советских десятилетий, навсегда устоявшихся понятий, представлений, пытался добраться до чего-то... При прощании во время его последнего приезда в Тилбург в сентябре 1994 года показалось – дрогнуло что-то у старика – по интонации, по глазам, и после обычных слов сказал, наклонясь близко совсем: «Миша, держаться, держаться надо», и уж совсем почти бестактно: «Ну, не знаю, когда и увидимся теперь...», пытаюсь задеть философскую струну. Прервал строго: «Ну отчего же. Вот вы, Гена, в Москву, может быть, приедете...» – «Да и то – правда ваша. Ну еще раз...»

Я провел с ним 10 дней кряду летом 1988 года, когда приехал в Москву с молодым И.Пикетом для занятий с патриархом. Вижу

хорошо гроссмейстерскую комнату в клубе на Гоголевском, пятнадцатилетнего Широва с Багировым, тоже присутствовавших на занятиях, самого Михаила Моисеевича, всегда несколько думавшего, перед тем как задать вопрос или сделать замечание. Осталось в памяти почему-то сформулированное им как «китайское» обязательное правило сделать первые 15 ходов в партии за полчаса, дабы избежать цейтнота. Помню также и его «Стоп» во время анализа и вопрос к Пикету «У меня такое впечатление, что вы не знаете моей партии с Юрьевым из чемпионата Союза металлистов 1927 года?» – Я: «Ну откуда же Йеруну, Михаил Моисеевич, знать вашу партию с Юрьевым из чемпионата Союза металлистов 27-го года?» – «Нет, Вы все-таки спросите, переведите...»

Там же я понял, что его целенаправленная, не знающая сомнений, во многом догматическая манера мышления вкупе, разумеется, с высочайшим классом является идеальной для занятий с молодыми шахматистами, и педагогом он был, конечно, замечательным.

Стоял жаркий июнь 1988 года, и в соседней комнате играл бесконечные тренировочные партии совсем маленький худенький мальчик, на которого Ботвинник советовал обратить серьезное внимание. Это был Володя Крамник.

В его последний приезд в Голландию, где он читал лекцию студентам экономического факультета в Тилбурге, говорили подолгу несколько дней подряд, и не только о шахматах. Я бы даже сказал, не столько о шахматах, сколько о его родителях, жене, книгах и музыке, Сталине и Молотове, всегда все же возвращаясь к шахматам. Говорил он точным, сжатым языком, зачастую простым до банальности, слегка картавя, разумеется, с его, ботвинниковской, интерпретацией и видением событий и фактов.

«...Отец мой из Белоруссии, из деревни Кудришино, это в 25 километрах от Минска, недалеко от Острошицкого городка. Его отец, мой дедушка, был арендатором, так вообще редко бывало, чтобы еврей занимался сельским хозяйством, но так было. Все его сыновья, а их у него пятеро, в том числе мой отец, у него работали. Отец был 1878 года рождения. Обладал огромной физической силой, хватал за рога быка из стада и валил на землю. И характер у него был жесткий, если казалось что-то справедливым, то стоял на этом до конца. Да, наверное... Наверное, и конституция моя, и черты характера от него. По-русски он говорил без акцента и пи-

сал очень хорошо, помню, и почерк имел очень красивый. Говорил, конечно, и на идиш, вот не знаю, ходил ли в хедер, но дома у нас запретил говорить на жаргоне, только по-русски. В 25 лет он уехал в Минск, там из-за отравления потерял зубы и решил стать зубным техником. Потом началась революция 1905 года; он работал в подпольной типографии.

Два других его брата уехали в Америку еще в прошлом веке, туда же уехала сестра Раиса, моя тетя. Но она уехала позже, уже в 1914 году. Я помню, как она приезжала проститься к нам в Петербург, я был маленький совсем, болел, стоял в кроватке и размахивал деревянной саблей. Ею и стукнул тетю Раису по голове, когда она подошла. После моей победы в Ноттингеме она прислала мне из Америки поздравительную открытку. Я, конечно, на нее не ответил – тогда это было ужасно опасно, и она не случайно прислала поздравление не в письме, а открыткой, чтобы все видели, что нет секретов. А отец уехал в Берлин учиться на зубного техника, но немец ему не понравился, и он приехал в Петербург и поступил учеником к зубному технику Василию Ефремову. Я видел его на похоронах отца, был он такой маленький, с огромной седой бородой. Отец у него выучился, получил диплом и право на жительство в Петербурге. Сначала он снял квартиру на Пушкинской улице, там познакомился с моей мамой Серафимой Самойловной Рабинович.

Она была дантисткой. Судьба ее тоже была очень интересной. Мама старше отца на два года, родом из Креславки Витебской губернии в Белоруссии. Дедушка мой с материнской стороны – частный поверенный в делах графа Плотера. Имел большой дом на берегу Двины, я помню этот дом на фотографии, он сгорел во время войны. Мама рассказывала, что когда в Креславку приезжал старший сын деда Исаак, в честь которого называли моего старшего брата, убитого на войне, они ночами напролет резались в шахматы, но в какую силу они играли – неизвестно. Потом в Двинске мама получила диплом дантиста, тоже участвовала в революции 1905 года, была даже в РСДРП, но меньшевиков, выслана в Сибирь на два года. Потом приехала в Петербург и работала в медицинском пункте Обуховского завода. Тогда туда ходил от Николаевского вокзала паровичок. Я помню его очень хорошо. Так вот, она ездила на нем и давала заказы зубному технику на Пушкинской. Там она познакомилась с моим отцом. Они позже-

нились, она оставила завод, переехала к нему, родился мой старший брат Исаак. Отец был очень хороший техник, дела его пошли на лад, и мы переехали на Невский проспект, где жили во дворе дома 88. Там была большая солнечная квартира из семи комнат на 4-м этаже, лифт, внизу стоял швейцар, я помню все это очень хорошо. Была кухарка, горничная, у меня с братом одно время была даже бонна. Потом 1917 год, февральская революция, на улице стреляли и мама сажала нас с братом за платяной шкаф, мы ведь жили на Невском, в самом центре города. В 1920 году отец увлекся другой женщиной и ушел от нас. Он женился на одной бывшей дворянке. У него появилась другая семья, две дочери. С одной из них – она младше меня на 10 лет – у меня сейчас хорошие отношения.

Научил меня играть в шахматы приятель моего брата Ленья Баскин. Мне было тогда 12 лет. Жил он в соседнем дворе того же дома на Невском, а родители этого Лени имели небольшой бакалейный магазинчик тоже на Невском. Вы помните этот дом, где сейчас кинотеатр «Хроника»?

Я вообще был в синагоге два раза. В первый раз с Леней и его родителями. Был какой-то еврейский праздник, и они взяли меня с собой. Тогда на Троицкой находилась большая хоральная синагога, но мне там не понравилось. Вообще, хотя дедушку с материнской стороны я и видел в ермолке, отец и мать были интернационалисты.

Во второй раз это было в 64-м году, после Олимпиады в Израиле, когда у нас состоялась экскурсия в Иерусалим. Потом я выступал в одном кибуце недалеко от ливанской границы. Там у меня спросили о моем еврействе. Я ответил так. «Мое положение сложное, потому что по крови я – еврей, по культуре – русский, а по воспитанию – советский». Больше вопросов не было. В народе, знаете, в 20 – 30-х годах антисемитизма не было, это потом пришло, сверху. Ну, была, конечно, подоплека, когда я против Смылова играл – еврей против русского – нет, антисемитских возгласов в зале не было, уши у меня очень хорошие, но по телефону звонили, особенно во время матч-реванша, и была антисемитская брань. Это – было. Ну, я, конечно, по телефону позвонил в милицию от соседей – звонки и прекратились.

Вообще после 1920 года мы жили очень бедно, мама болела, отец давал нам 120 рублей в месяц, что было очень-очень скром-

но. Нет, отец с матерью не виделись, хотя отношения сохранялись. Мать болела довольно часто и, когда она лежала в больнице, хозяйство вел мой брат. Студентом я стал в 1928 году, он давал мне рубль в день на проезд до института, обед и ужин. В школе я учился в Финском переулке у Финляндского вокзала и ходил туда пешком по Литейному проспекту через весь город. Там были замечательные педагоги, и вообще школе я обязан очень многим. В 9 лет я прочел уже почти всю русскую литературу, классику. Книги были тогда очень дешевые. Прочел Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Толстого уже позже. «Война и мир» – это, знаете, да! – здесь Толстой выложился весь, а «Анна Каренина» и остальное – слабее уже. Но выше всех Пушкин, конечно, уж не знаю, когда он будет превзойден, если будет. Он ведь такой жизнелюбец, оптимист, лаконичен. У него ведь воды никогда не было, а у других писателей вода была. А из современных писателей люблю Зощенко. Я познакомился с ним в 1933 году. Он пришел тогда на последний тур чемпионата СССР. Выглядел очень грустно. Он мне сказал тогда удивительную фразу: «Вы многого добьетесь, и не только в шахматах». Я ему понравился. И Евгения Шварца я тоже очень высоко ставлю.

Читал ли я Солженицына? Читал «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» и стал относиться к нему отрицательно. Так, Иван Денисович – это плагиат. Это он все у Толстого из «Войны и мира» взял, это же Платон Каратаев, перенесенный в современность. Написано, конечно, ловко, но надо и содержание какое-то давать, а «Матренин двор» – это призыв к реакционному крестьянскому прошлому России. Нет, больше я ничего его не читал – достаточно.

Что касается музыки, то здесь два фактора сыграли роль. Во-первых, уроки музыки в школе, во-вторых – моя жена. В школе уроков пения, как сейчас, не было, был урок слушания музыки, и преподавательница или сама играла, или приглашала студентов Консерватории, и мы учились слушать и понимать музыку. Поэтому и русскую, и мировую музыку я знаю достаточно хорошо, мы с Гаянэ Давидовной ходили в оперу, но меньше, а вот в балет много чаще.

Я познакомился со своей женой 2 мая 1934 года и помню этот день очень хорошо. Ганочка была на три года моложе меня. Девичья фамилия ее — Ананова, была она стопроцентная армянка,

но родилась в Петербурге. Отец ее из пригорода Ростова, а мать – из Ейска. В семье говорили только по-русски, хотя, когда родители хотели, чтобы дети не поняли, говорили между собой по-армянски. Была она удивительно приветливая, добрая, очень верующая, эта вера ее очень поддерживала. Слава Рагозин о ней говорил: «Ганочка – человек обязательный». Капабланка сказал о ней: «Et bonne et belle». Часть моего успеха принадлежит ей, конечно. Во всем, чем я занимался, она меня поддерживала. По профессии была балерина, училась у знаменитой Вагановой. Танцевала сначала в Мариинском (Кировском) театре, потом, после войны – в Большом. Танцевала в общей сложности 24 года, до 56-го. В Большом танцевала в массовых танцах, но иногда и в отдельных партиях, например, в цыганском танце в «Травиате» или в «Гаянэ», где танцевала в четверном танце. Память у нее была феноменальная, ведь тогда не было видео, но она помнила почти все постановки. Я ходил, конечно, всегда, когда она танцевала. Ну, потом – дочка, внуки. Она им всю жизнь отдавала, и мать мою тоже очень поддерживала. Вот сейчас правнучка моя Машенька – ей шестой годик идет – очень на нее похожа, такая же приветливая, симпатичная, и называет меня «дедушка Миш!» И общительная такая, а вот Гаянэ Давидовна всегда немного грустной была.

Еще о музыке – помню, как осенью 34-го года слушал Козловского в «Евгении Онегине», был он фантастический певец, блистательный голос, я его выше итальянцев ставлю. И на следующий год слушал его в «Риголетто». Я в театр часто ходил. Ленинград тогда был просто потрясен моими успехами, и у меня был бесплатный пропуск в ложу дирекции во все театры. Нет, с Шостаковичем знаком не был, а вот с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым мы были друзья, и с дирижером Хайкиным тоже. Помню, выбрали нас обоих депутатами Ленинградского городского совета, и это было дико скучно, так мы сидели рядом и беседовали о том, о сем, потом я с ним еще в Москве виделся. С Прокофьевым я познакомился в Москве во время 3-го международного турнира. Шахматы он очень любил, и сам играл, и был другом Капабланки. Я шел тогда на пол-очка сзади Капы, после того как проиграл ему совершенно выигранную позицию, да-а... Помните эту партию? Я тогда очень хорошо играл. И вот в конце турнира я должен был играть черными с Левенфишем, а он белы-

ми с Элисказесом, и Левенфиш пустил провокационный слух, что его заставляют мне проиграть, и сообщил об этом Капабланке. Прокофьев тоже узнал об этом, был он человек горячий и порвал со мной всякие отношения. Капа легко выиграл у Элисказеса, а я имел преимущество в драконе, даже выиграл пешку, но – разноцвет, получилась ничья. Прокофьев все понял, и когда мы поделили с Капой 1 – 2-е места в Ноттингеме, прислал нам обоим поздравительные телеграммы. Потом мы с ним были друзья, но в чемпионате 1940 года он болел все же за Кереса, а не за меня...

Люблю ли я его музыку? Помню, в школе еще играли его пьесу «Отчаяние», и она мне очень нравилась. Потом, когда он умер, меня попросили написать о нем. И музыковеды очень удивились, так как никогда не слыхали о таком произведении. Эта вещь очень сильная, а вообще же музыка у него какая-то искусственная была. Вот в своих воспоминаниях он пишет, что музыку надо писать так, как не писали до тебя. А Капа как учил? Надо всегда играть по позиции. Но у него есть, конечно, очень сильные вещи. Вот Шостакович мне как-то ближе, музыка его более живая, озорная. Был ли Прокофьев сильным игроком? Да нет, королевский гамбит, жертвы, все вперед, поэтому Ойстрах легко у него выигрывал. Стил Ойстрах имел выжидательный – главное, ошибок не делать. Мы с ним тоже были очень дружны. А вообще я фортепьяно люблю – там можно больше сказать.

Записывал ли я свои самые первые партии? Да, конечно, в такой тетрадке, по-моему, она сейчас у Батуринаского. Помню, записывал туда гастрольные партии Ласкера, партии из 2-го чемпионата школы, где занял первое место. Все партии записаны и прокомментированы почти все.

Родители мои были категорически против того, чтобы я играл в шахматы. Помню, шли мы с отцом по Владимирскому проспекту мимо игорного клуба, где на последнем этаже две комнаты занимало Петроградское шахматное собрание, и я ему сказал: «Папа, ты видишь, я там играю». И он резко отрицательно отозвался о том, что я играю в шахматы, его страшно волновало, что я прохожу все комнаты этой игроцкой богемы. Он думал, что это меня засосет, а меня это совершенно не интересовало, я стремился на последний этаж, где можно было играть в шахматы. Даже когда пришли успехи, появилось имя в газетах, не было большо-

го восторга. Когда же в 26-м году мне нужно было в первый раз ехать играть в Стокгольм, мать помчалась в школу и говорила с воспитателем нашего класса. И он ей так иронически сказал: «Для того, чтобы в таком возрасте мир посмотреть, можно и десять дней в школе пропустить». Она и до этого ездила и тайком жаловалась директору школы на мое увлечение. Так он ей сказал: «Ваш сын книжник, оставьте его в покое». Ну, потом они, конечно, примирились, они ведь были против оттого, что шахматы тогда не были профессией. Ну а я, я не мог не играть.

На следующий год во внекатегорном турнире я играл уже будь здоров, хорошо играл. Нет, никакого тренера не было, все брал из книг, сам анализировал очень много. Все в Ленинграде были тогда учениками Романовского, а я в тот клуб не ходил, за это Романовский меня возненавидел. Вообще отношения с ним были сложные, но, конечно, это внешне никак не отражалось, здоровались, разумеется, и все приличия соблюдали...

Первым, с кем я прекратил всякий контакт, был Бронштейн: во время нашего матча он вел себя безобразно. В зале прямо напротив сцены была ложа КГБ, «Динамо», там сидели все его болельщики. Так, если он жертвовал или, наоборот, выигрывал пешку, там всегда аплодисменты были. А сам он делал ход и быстро уходил за сцену, а потом вдруг высказывал и снова скрывался. В зале смех, а мне это мешало играть. А то, что он говорит, что во время 23-й партии думал больше о судьбе своего отца, так это Вайнштейном подсказано – его злым гением. Тот был страшный человек, просто страшный, меня ненавидел, он не хотел, чтобы я стал чемпионом мира. Когда обсуждался мой матч с Алехиным, то, несмотря на решение Сталина, он, пользуясь тем, что был начальником планово-финансового отдела КГБ, использовал свои связи, чтобы мешать моим переговорам с Алехиным. Во время войны он агитировал за то, чтобы объявить Алехина преступником и лишить его звания чемпиона мира, и давил на меня, чтобы я выступил инициатором этого. Ясно, что это было самое простое, чтобы Алехин вообще не играл матч. После матча, хотя мы с Бронштейном и здоровались, он для меня перестал существовать. Последние годы я стал относиться к нему нормально, но он меня до сих пор ненавидит.

И с Левенфишем отношения были очень острые. Вообще он был очень интеллигентным человеком, окончил Технологический институт в Петербурге еще до революции и шахматист высокого

таланта, но шахматам все время не уделял, хотя обладал высокой шахматной культурой. Но был он всегда как одинокий одичалый волк. Действительно, он был в 1917 году уже взрослым человеком, а я еще ребенком, но нет, не думаю, как вы говорите, что мы по-разному воспринимали происходящее. Не думаю, что он был антисоветчик, в конце концов ему уж и не так плохо жилось в Советском Союзе, а то, что выезжать за границу не мог, так я не уверен, так ли уж это важно. Я вот в свое время Гулько с женой говорил, что тоже мог остаться в 26-м году в Стокгольме, да не остался, и неплохо получилось. И Романовский не был антисоветчик. А вот Богатырчук – тот ненавидел советскую власть. Нет, книги его не читал, но знаю его хорошо. Талантливый и позицию понимал хорошо, считал хорошо, пользовался ласкеровским принципом: если хуже – еще не проиграно. Но человек был нечистоплотный. Я ему в 27-м году партию проиграл, а потом еще две, но что поделаешь, вот был такой лесничий в Сибири – Измайлов, так я ему тоже две партии проиграл – одну в Одессе в 29-м году, другую в полуфинале – в 31-м, едва в финал попал...

Ну и с Петросяном не было отношений после того, как он вел себя во время нашего матча совершенно неприлично. Что значит? Надо было подписать регламент матча, и, не помню уж какой, совсем ничтожный пункт ему не нравится – подписывать не хочет. Я говорю – хорошо, я позвоню в ФИДЕ Рогарду. Мне говорят в федерации: подождите пару дней. Петросян соглашается. Потом снова отказывается. И так несколько раз. Ясно: решили потрепать мне нервы. А когда Петросян поднимался по лестнице Театра эстрады, армяне перед ним святую землю из Эчмиадзина посыпали. Ну что это такое? А он воспринимал как должное. Если бы передо мной посыпали святую землю из Иерусалима – что бы я сделал? «Подметете – пройду», – сказал бы.

И со Смысловым у меня тоже были острые отношения, но такого не было. Сейчас у нас с Василием Васильевичем отношения нормальные. С Эйве были острые отношения, когда мы с ним конкурировали, например, в Гронингене в 1946 году, тогда было ясно, что если он этот турнир выигрывает, то никакого матч-турнира в 48-м году не будет. Ну, а потом, когда спортивный элемент отпал, мы с ним друзья стали самые настоящие. С Карповым были добрые отношения, но потом они ухудшились, когда он стал утверждать, что советской шахматной школы – нет. И потом, когда

он притеснял Каспарова, я взял сторону Каспарова, так как считал, что они должны быть в равных условиях. Ну и эта жуткая история, когда прекратили матч, здесь приняли участие все – и ЦК, и Спорткомитет, и федерация, и Кампо. Ведь Гарик с 73-го по 78-й посещал мою школу, потом она была закрыта, и мы встречались с ним просто вдвоем, я поддерживал его всячески, я ведь добился для него участия в Мемориале Сокольского, который он выиграл легко и стал мастером, то же самое и турнир в Баня-Луке, где он стал гроссмейстером. Гарик сейчас играет слабее, чем десять лет тому назад, и стиль его изменился. Раньше он играл как Капабланка, как я его учил, по позиции, но несколько лет назад я заметил, что в интересах безопасности он идет на упрощения и после того, как позиция упростится, применяет свой тактический талант. Нет, я не думаю, что это возраст, он просто понял, что ему в первую очередь не надо проигрывать. Вы ведь знаете, что каждый тенор может взять в своей жизни определенное количество верхних «si». Но, может быть, и шахматист способен сыграть только определенное количество хороших партий, а остальное время он просто передвигает фигуры? Думаю, что единственное спасение его – это бросить галиматью, которой он сейчас занимается. Но это уже бывало, что ко мне поворачивались спиной; я в конце концов помогал Каспарову не из-за его человеческих качеств, а потому, что он замечательный шахматист.

Кого я выше оцениваю, Каспарова или Карпова? Конечно, они оба выдающиеся таланты, но более разносторонний талант – у Карпова. Вы видели мою книгу «Три матча Анатолия Карпова»? Так вот – он играл фантастически в этих матчах. Как он выиграл у Спасского! А тот ведь был еще очень силен; Спасский за несколько месяцев до этого, в 73-м, выиграл чемпионат Союза – и какой! Так Карпов его в матче прямо разгромил. Ну а потом Карпов перестал играть в полную силу. Почему – не знаю. Может быть, в сочетании деньги – шахматы деньги стали более важны. Но то, что он показал недавно на турнире в Линаресе, говорит о том, что он сохранил еще свой талант. С кем я хотел бы остаться вдвоем на необитаемом острове, с Карповым или Каспаровым? У меня сейчас достаточно хорошие отношения с Карповым. Но если бы я мог выбирать между Карповым времен его чемпионства и Каспаровым – его чемпионства, я бы предпочел остаться в одиночестве на необитаемом острове.

Из молодых? Помню, когда Крамнику было 12 лет, играл он очень осторожно, очень правильно. Он быстро усиливался и сейчас играет смелее, но просто с неуважением относится к себе: толстый, пьет, курит. Камскому проиграл позорно, да и Гельфанду. Он и меня теперь избегает, обходит стороной. Широ́в очень своеобразный талант, мне чем-то Корчного напоминает. Но у него, я думаю, нервная система не в порядке – то хорошо, то плохо. Он резкий такой, импульсивный, кого угодно может критиковать. Нет, как чемпион мира он мне не видится.

Прежде чем о будущем чемпионе говорить, надо порядок навести в шахматном мире. Скоростные турниры всякие, все шлеп да шлеп – издевательство над шахматами. Вы видели, как Каспаров компьютеру проиграл? Бесцветная партия! Компьютер играл бесцветно, Каспаров просто жутко. Но я еще перед матчем в Лондоне понял, когда мама со мной говорила, что деньги для них – это все.

Нет, шахматы не изменились, не стали другими – это все сказки для маленьких детей. Это только первоначальную информацию теперь легче добыть, а процесс анализа остался прежним. Шахматист должен анализировать сам, и много, и ничто не может заменить анализа.

Лучшая из моих аналитических работ? Думаю, написал ее во время войны, когда прокомментировал все партии турнира на звание абсолютного чемпиона СССР. Я ведь тогда, в 43-м, написал письмо Молотову, что теряю свою шахматную квалификацию. Вот он и начертал резолюцию: «Надо обязательно сохранить товарищу Ботвиннику боеспособность по шахматам и обеспечить должное время для дальнейшего совершенствования». Так у меня образовались два свободных дня в неделю, тогда и книгу писал.

Помню, привел ко мне Быховский Белявского – тому тогда 17 лет было – посмотреть, как играет. Было видно: способный, но ничего не знает, просто играет как бог на душу положит. Так я ему дал эту книгу, чтобы научился анализировать. Через несколько месяцев он ее вернул и сказал, что искал в анализах хотя бы одну ошибку, да так и не нашел.

Когда я сам играл сильнее всего? Ну, конечно, в 48-м году играл я хорошо. Готовился от всей души и показал, на что способен. И чемпионат СССР в 45-м играл хорошо, когда набрал 16 из

18. Да и матч-реванш с Талем, хотя было мне уже 50. Подготовился очень хорошо и всех удивил, и Таля удивил. Вы вот о Тале хорошо написали, а стиль его определили неправильно. Я же показал во втором матче, как с ним надо играть. Когда фигуры у него прыгали по доске – не было у него равных, а когда крепкая пешечная структура в центре – тогда позиционно он был слаб, поэтому надо было его ограничивать, ограничивать. Да, Таль... Помню, в Мюнхене в 58-м была трамвайная остановка Тальштрассе. Мы все шутили: в честь Миши названа. Был болен, вы говорите? Но он же всю жизнь болел. А как было дело? Вызывает меня Романов и говорит: матч отложен – Таль болен. Есть ли официальное заявление от врача? Да нет, говорит, болен он. Я: но есть правила, должно быть удостоверение. Перешли в крик. Вечером Романов мне позвонил и сказал: матч играется. Позвонили Талю в Ригу, чтобы он официально освидетельствовался. Таль отказался.

Вообще говоря, и Бронштейн, и Смыслов, и Таль после матчей со мной уже не показывали былой игры. Этот грех на моей душе, так как я их раскрыл, и все поняли, как с ними надо играть.

Нет, не курил никогда, за исключением двух месяцев в молодости, алкоголя не употреблял, ел всегда за полтора часа до игры, потом лежал, но не спал, просто лежал, потому что, когда лежишь, никто не лезет с пустыми разговорами. Сначала брал с собой на игру черную смородину с лимоном, жена сама выжимала. Потом стал пить кофе. Одно время ел шоколад во время игры, думаю – это неплохо. Для себя заметил так: если поправляюсь во время турнира, значит, плохо играл, и если прихожу после партии не усталый – тоже плохо. Ну а если измочаленный – тогда полный порядок. После партии с Капабланкой в Амстердаме со стула не мог подняться.

Сон, конечно, важное дело. Что вам Спасский говорил в отношении сна? Чепуху, наверное. Но был – великий шахматист, великий. Это продолжение линии Ласкера – его мало интересовало, что делают другие, он имел свое мнение. Свой первый матч с Петросяном он играл уже очень хорошо, но, я думаю, ему Бондаревский голову заморочил. Ну а второй матч с Петросяном – просто великолепно. Думаю, что Фишеру он проиграл матч по глупости. Переоценил себя. А то, что с ним произошло, – так вы же сами

знаете, что творчество и деньги сопутствуют друг другу. Здесь вопрос – что важнее? Или деньги – для того, чтобы играть в шахматы, или шахматы – для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, он перешел на вторую систему и потерял интерес к шахматам. Еще сейчас ему повезло, что он сыграл этот идиотский матч с Фишером и обеспечил себя.

Так вот, о сне: я спал хорошо до 3-го московского турнира 36-го года. Но тогда такая страшная жара стояла и шум был постоянный на улице, что я потерял сон. Но был молодой и с бессонницей играл хорошо, заставлял себя играть. Потом как-то восстановился, но полного порядка так и не было.

Без всякого сомнения – машина будет играть сильнее человека, и бояться здесь нечего, шахматы станут еще популярнее. Бегают же люди на стадионах, хотя и велосипед, и тем более машина намного быстрее. Нет, здесь бояться не надо, но дело это непростое. Знаете, что я вчера на лекции понял? Составить программу для управления экономикой легче, чем для шахмат, потому что игра двусторонняя, антагонистическая – игроки мешают друг другу, это же черт знает что такое, а в экономике этого нет, там все проще.

Нет, Сталина не видел, с Поскребышевым, помощником его, по телефону разговаривал, а Сталина не видел. Но у меня есть телеграмма. Получил я ее в январе 1939 года, после того, как послал Молотову письмо насчет моего матча с Алехиным. Телеграмма такая: «Если решите вызвать шахматиста Алехина на матч, желаем Вам полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить. Молотов». Я всегда думал: Молотов писал, но как-то прочел это с кавказским акцентом и понял – сталинский стиль, особенно «остальное нетрудно обеспечить». Ну, и потом у меня в Центре висит распоряжение 1950 года за сталинской подписью. Сталин ведь был не только негативной фигурой, его роль двойственна. Он укреплял государство, и, хотя люди жили бедно, большинство его поддерживало. Десятки миллионов жизней, вы говорите? Знаете, я в это не очень верю. Лагеря были, конечно, но многие из лагерей возвращались, очень многие, и друзья мои возвращались. Так что цифрам я не очень верю. Хотя Сталин очень ловко камуфлировал свои злодеяния. Впервые я почувствовал, что это брехня, в 1952 году, когда объявили о процессе врачей – врачи-убийцы. Я тогда и не поверил.

Еще до войны я отстаивал идею, что шахматные турниры надо проводить, как музыкальные конкурсы, что шахматы не хуже скрипки. Когда я на приеме у Вышинского был, я ему прямо сказал об этом. А Вышинский в ответ: у нас денег нет. А я ему: а на конкурсы есть? Так он ничего и сказать не мог... Вышинский был, конечно, приспособленец, но человек способный. В каком смысле? Юрист хороший, талантливый, но беспринципный. А вот Крыленко, это другое дело – добрый, справедливый, принципиальный и шахматы любил безумно, но, конечно, партийная дисциплина и указания ЦК были для него законом.

Хрущева видел однажды на приеме, помню – идет, живот у него был огромный, фотографии кричат ему: «Фотографию, Никита Сергеевич!» А он говорит: «А где же?» Тут Брежнев, он рядом с ним шел, опустился на землю, подставил колено, вот Хрущев на него и сел. Так и на фотографии они вместе. Брежнев мне в 1961 году орден вручал после матч-реванша с Талем. Говорил он очень тепло и вообще мне понравился, это он потом больной стал.

Сожалею ли о чем-либо, что сделал не так в жизни? Делал какие-то ошибки, но я их больше не повторял. Какие?.. Ну, так трудно сказать. Иногда я по мелочам принимал глупые решения, но это меня учило, а так вообще – нет, не жалею».

Он замолчал, комната была полна заходящим солнцем сентября 1994 года, и в соседней церкви часы уже били шесть. Было видно, что он устал.

– Видите меня, Михаил Моисеевич? – спросил я.

– Только контуры.

– Вы так и не были у Федорова? Вот Смыслов, например...

– Да что Василий Васильевич, у него зрение в три раза лучше, чем у меня.

В прошлый свой приезд грозился все пойти к Федорову, да выжидал, полагая, что профессор должен сначала прочесть его статью в историческом журнале, написанную еще в 1954 году, из которой было ясно, что он уже и тогда был за демократию.

– Да был я у Федорова. Так тот прямо сказал, что клетки стареют.

– Что же получается, медицина бессильна?

– Да, вот именно. Он, правда, предложил операцию сделать, но я отказался.

Я снова посмотрел на него. Старческие руки, астигматический взгляд из-за толстых стекол очков, седые, аккуратно зачесанные волосы. Он говорил о людях, большинство из которых умерло, так, как будто его самого на девятом десятке не касаются понятия времени и возраста. Его лекция на экономическом факультете и пресс-конференция в Тилбурге, посвященная шахматам, были фактически одним и тем же – яростной, страстной попыткой утвердить свою правоту, часто резкую и нетерпимую, не считающуюся с мнением собеседника или оппонента. Очень часто он брал за основу факт, далеко не очевидный, а иногда даже весьма сомнительный, и делал из него выводы с железной последовательностью и неумолимой логикой. Помню на той лекции удивленные лица студентов, когда он сказал: «Как вы сами знаете, всю экономику Голландии определяют три концерна – Philips, Hoogovens, Unilever». Добившись вследствие своего огромного таланта и железной воли наивысших успехов в одной области, он под влиянием этого полагал, что может чувствовать себя на таком же уровне и в других, где был значительно менее компетентен. Поэтому его суждения часто выглядят наивными и банальными, а иногда даже нелепыми. Нет, впрочем, никакого сомнения в его искренности и абсолютной вере в то, что он говорил. Очевидно, что в этом немалую роль сыграла и страна, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь, страна, считавшая только одну идею правильной, а остальные – реакционными или ошибочными. Его оценки людей и событий совмещали в себе нередко глубокое проникновение в характер человека и догматическое упрямство в объяснении его мотивов и намерений. Надо отдать ему должное: он развивал свои теории и гипотезы, построенные на этих предпосылках, с исключительной ясностью и целеустремленностью.

«Мышление у Михаила Моисеевича, – сказал мне однажды Смыслов, – сугубо материалистическое, я бы даже сказал – машинное. Впрочем, все это суeta суeta и всяческая суeta, суeta и томление духа, а вот у Михаила Моисеевича и томления духа нет». Поэтому так щемяще звучит фраза, очень неожиданная для него: «В последние годы я понял, что такое старость: когда друзья уходят, а новые не появляются, остается лишь помнить тех, кто ушел».

Раз приняв какое-либо решение, он следовал ему твердо, не сворачивая в сторону. Я думаю, что это качество – вера в себя, в

правильность избранного плана, собственной идеи – крайне важно для шахматиста высокого уровня. Уверенность эта каким-то образом передается и шахматным фигурам. Все чемпионы мира, которых я видел вблизи, обладали в той или иной степени этим качеством. Просчитав варианты и сыграв g2 – g4, следует верить только в лобовую атаку, а не сокрушаться по поводу того, что поле f4 сдается навсегда и что будет, если туда придет черный конь. Сомнения, накапливаемые с опытом, увы, порождают неуверенность и ничего хорошего не приносят.

Как-то в разговоре, чтобы посмотреть на его реакцию, вспомнил наполеоновское: «Нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем, что утверждаешь сегодня». – «Наполеон вам мог и не то сказать. Это когда он сказал, после 1812 года, что ли?»

Обидчиков своих и в жизни, и за шахматной доской помнил крепко. Однажды в Брюсселе в пресс-центре одного из турниров ГМА сказал ему, обсуждая одну дебютную позицию: «Это, кажется, идея Джинджихашвили?»

«Джинджихашвили, вы сказали? Как же, как же, помню, не к ночи будет помянут. На Спартакиаде (*называет год и месяц*) совсем выиграно было, так расслабился, пропустил удар, даже ничьей не сделал...»

Вижу хорошо его в пресс-центре турнира. Анализировал он, разумеется, всегда вслепую, в последние годы, увы, почти буквально. Седая, низко склоненная голова, которой покачивал иногда из стороны в сторону, переспрашивая: «Пешка, где вы сказали стоит, на d5?»

О шахматах он знал что-то, чего другие не знали. Слова греческого поэта Архилоха – «лиса знает множество вещей, а еж знает одну большую вещь» – относятся прямо к нему. В шахматах было много замечательных лис в 30, 40 и 50-х, но он, конечно, был из разряда ежей.

В своем последнем турнире в Лейдене в 1970 году стоял на выигрыш во многих партиях, но, впервые в жизни разделив последнее место, понял, что дело здесь не только в шахматах. Он понял прекрасно, что на шахматы распространяется тот же жестокий обычай, который существовал у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков.

Увидев как-то имена двух людей, о которых он писал в свое время, сказал ему: «Михаил Моисеевич, вы знаете, однажды Эйнштейн получил телеграмму от одного бруклинского раввина: правда ли, что он безбожник? В тот же день Эйнштейн по телеграфу отвечал: «Я верю в Бога Спинозы, проявляющегося в гармонии всего сущего, а не в Бога, занимающегося судьбами и поступками людей». Помолчал немного и начал что-то говорить о «брут форсе», которым не добьешься прогресса в шахматных программах. Он не верил, конечно, ни в Бога Спинозы, ни, тем более, в Бога бруклинского раввина, хотя, сам того не подозревая, жил по мудрости Талмуда: жизнь – не страдание и не наслаждение, а дело, которое нужно довести до конца.

Его религией стало мировоззрение нового государства, вместе с которым он рос. Его заповедями были лозунги и идеалы молодой страны. Этим идеалам, таким красивым на бумаге и неосуществимым в действительности, отброшенным сейчас вместе с самой системой, он оставался верен (пусть с самоочевидными коррективами) до конца. Он и себя рассматривал как «казенное имущество» партии и государства. Отказаться от этих идеалов – значило для него перечеркнуть всю свою жизнь. Так и в шахматах – выработав еще в молодые годы свои методы подготовки и принципы ведения борьбы, он оставался им верен до конца творческого пути. В партии 14-летнего Миши Ботвинника, которую он выиграл в 1925 году в сеансе одновременной игры у Капабланки, уже ясно проглядывают черты его лучших образцов 30-х, 40-х и 50-х годов.

В Брюсселе в августе 91-го он получил телеграмму от Горбачева по поводу своего 80-летия. На следующий день, когда спал первый ажиотаж, спросил его, шагнувшего в девятый десяток, о жизни и смерти. Подумав немного, отвечал: «Еще Фридрих Энгельс говорил, что вся жизнь есть фактически подготовка к смерти. Энгельс же...».

Мне показалось – что-то похожее говорил не Энгельс, а Марк Аврелий, но я не стал спорить по мелочам. «А смерть – смерти я не боюсь. У меня только одно желание – завершить работу над программой».

Детищем последнего периода жизни была его программа. Ей посвящал он все свое время и энергию. Знал, конечно, что большинство математиков скептически относится к его идее создания

программы по подобию мышления человека, но твердо верил в свою правоту.

Он был живой реликвией, частью эпохи, и невозможно оторвать или рассматривать его вне этой эпохи и вне ее контекста. «Сцепление всего со всем» – эта замечательная по простоте формула Толстого более чем когда-либо применима к стране и ко времени, в котором он жил. Невозможно понять некоторые поступки Шостаковича или Пастернака, например, вне того времени, и вне той удивительной, жестокой, ни на что не похожей страны. Но была и разница. Начиная с 20-летнего возраста, когда он впервые выиграл чемпионат Советского Союза, его имя стало не просто популярным, оно превратилось в символ шахмат в стране Советов, так же как имя Маяковского – в поэзии, Улановой – в балете или Шолохова – в литературе. Фотографии и статьи в газетах, автографы и восхищенные взгляды болельщиков, постоянное внимание людей, по выражению Салтыкова-Щедрина, «на заставах власть имеющих», – все это вместе с врожденными качествами, характером и талантом сформировало феномен Михаила Ботвинника.

Расскажу еще о двух случаях, мне кажется, очень типичных для него. Как и большинство чемпионов мира по шахматам, Ботвинник вырос без отца и с детства был приучен к формуле, которая стала формулой жизни. Вот она. Свое восьмидесятилетие, которое совпало с окончанием кандидатских матчей 1991 года, он встречал в Брюсселе. Был большой банкет, и сам юбиляр выступал с речью. Я переводил как мог, и когда он под аплодисменты стал спускаться вниз по лестнице, попытался взять его, почти ничего не видящего, под руку. «Нет, – сказал он твердо, – я сам, я – сам». Это было нежелание смириться, зависеть от чужой воли, остановить часы, сдаться. Все, что он делал в шахматах и в жизни, все решения, которые он принимал, он принимал сам и, приняв однажды, следовал им неукоснительно.

Другой случай: в Тилбурге он решил купить несколько авто ручек для своих сотрудников и попросил меня помочь ему в этом. «Но только чтобы обязательно были с черными чернилами, Геннадий Борисович, чтобы непременно с черными». В магазине, когда я сказал об этом девушке, она стала переспрашивать. Михаил Моисеевич прислушивался к нашему разговору и вдруг, от-

странив меня, чтобы все и окончательно разъяснить, решительно произнес: «Zchwarz, understand?».

В последний раз я видел его в декабре 1994 года в Москве, в клубе на Гоголевском, где он работал еще каждый день. Был обычный снежный московский день, у кого-то из сотрудников – день рождения, пили чай с тортом и все казалось: так будет всегда, с ним ничего не может случиться, он переживет всех нас. Он, с его постоянной температурой 35,7, как бы законсервировался, казалось – он вечный. И действительно, был крепок физически. Получив в подарок в детстве книгу Мюллера, всю жизнь делал гимнастику по его системе. Помню, как в Брюсселе в 88-м, при самом первом знакомстве, в лифте гостиницы спросил: «А вы такое можете?» и, опершись руками на металлические выступы, сделал «угол».

Но как-то нездоровилось, отправился в больницу, которую активно не любил (в последний раз был ровно 50 лет назад по поводу аппендицита), был поставлен диагноз – гнойный плеврит. Но введенный гаммаглобулин организм не принял, ему стало хуже. И в таком состоянии оставался Ботвинником, сам говорил врачам, какие препараты нужно ввести, чтобы нейтрализовать реакцию.

Все процессы в его организме пришли в движение, и рак поджелудочной железы в конечном итоге явился причиной смерти. Он умирал мужественно, превосходно понимая, что умирает, при ясном уме и твердой памяти, его, ботвинниковском, уме и его, ботвинниковской, памяти.

Василий Смыслов: «Помню, был с ним на Новодевичьем, так он сказал: «Я вот спокоен – буду здесь рядом с Ганочкой, и место уже есть». И протирал место, где теперь стоит урна с его прахом».

Он был спокоен в самом конце, сознательно приняв формулу древних: нам легче быть терпеливыми там, где изменить что-либо не в нашей власти. Хотя знал я его фактически только на самом последнем витке жизни, был он для меня всегда с заботами и мыслями конкретными, сегодняшнего дня, очень живым, деятельным человеком и никогда – мертвецом, еще не приступившим к своим обязанностям. Мало кто может сказать, умирая: «Я жил так, как считал правильным». Я думаю, что он мог так сказать.

Он был дома, в кругу своих близких, и совершенно сознатель-

но отдавал последние распоряжения о морге, кремации, ненужности пышных похорон. Сам в последние годы принципиально не ходил на похороны. Объяснение этому, полагаю, не только в желании избежать отрицательных эмоций, с практической стороны дела бессмысленных. Мне думается, что скорее здесь имело место раздражение и неприятие факта, что кто-то (или в его случае правильно сказать, конечно, что-то), несмотря на то, что все делалось правильно и игралось по позиции, по Капабланке, самым нелепым, а часто и неожиданным образом кладет конец всему.

Гарри Каспаров в последнее время воевал со своим бывшим учителем. У них были разные взгляды на будущее шахмат, да и на жизнь вообще. Но они, такие разные, были в чем-то и похожи друг на друга непримиримостью, верой в собственную, единственную правоту. Через несколько дней после смерти Ботвинника Каспаров играл турнир в Амстердаме. Я увидел его через час после открытия при выходе из гостиницы, о чем-то оживленно разговаривающим со своим секундантом:

– Понимаешь, мы сейчас проверили, дошли до турнирного зала – отнимает все же 20 минут.

– Но если так пойти – будет короче, мне кажется, – заметил я.

– Нет, это уж очень шумная улица.

Михаил Ботвинник с его идеями более чем полувековой давности сквозь размолвки и ссоры, годы и смерть строго смотрел на своего ученика. Его жизнь вместила в себя важнейшие события этого жестокого уходящего века: обе мировые войны, выход человека в космос, наконец, образование и распад удивительного, ни на что не похожего государства, шахматным символом которого он являлся.

– И о чем же вы, Гена, собираетесь со мной говорить? – спросил он, когда я включил магнитофон.

– Как о чем? О жизни, о жизни.

– М-да. А для чего же это?

Зная, что он не любит таких определений, отвечал все же:

– Для бессмертия, Михаил Моисеевич.

– Эх, куда хватили, да вы воспоминания, батенька, собираетесь писать, так бы сразу и сказали...

5 мая на телетексте – невозможные, безжалостные слова. И – звонок Смыслову, и подтверждение этих слов. И долгое хождение по комнате, и мечущиеся мысли, что нет больше Трои, и медленное понимание того, что некому сказать теперь, не прячась за иронию или шутку, что-то, что так и не успел сказать. Но проходит первая боль и привыкающая ко всему душа переносит того, кто жил, в другие измерения и категории, и жизнь продолжается уже без него, и понимаешь, что есть немалый смысл в том, что настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти, так же как обязательным условием бессмертия является сама смерть.

5 мая 1995 года Михаил Моисеевич Ботвинник начал свой путь в бессмертие.

Июль 1995

«РАБОТАТЬ, НАДО РАБОТАТЬ...»

«Полу-гаевский? Полу-гаевский? Нет, такой фамилии не может быть» – смеясь, утверждала загорелая дама – случайная посетительница шахматного турнира жарким сентябрем 1965 года. «Да, но моя фамилия действительно Полугаевский», – смущенно повторял Лева – пышная шевелюра, выразительные черные глаза из-под мохнатых бровей, быстро льющаяся речь – почти осязаемая энергия тридцатилетней молодости. Тогда я и познакомился с Левой – той далекой уже осенью 65-го года в Сухуми, где мы играли в финале «Буревестника», который являлся одновременно полуфиналом первенства СССР. Хотя Лева был уже признанным гроссмейстером, в финал персонально допускались тогда единицы, и ему, как фактически и всем, надо было начинать с полуфинала. Я не был в то время и мастером (выполнил норму на этом турнире), разница в классе была огромной, и Лева шутя выиграл у меня. Турнир был долгий – почти целый месяц, и остались в памяти не только отдельные партии, но и море, пляж, где собирались днем почти все участники, сам Лева, его общительность, приветливость с нами, совсем еще молодыми: Альбуртом, Гулько, мной самим...

Интересно, что самые последние, чисто шахматные воспоминания о нем тоже связаны с морем, солнцем, пляжем. На Арубе весной 1991 года оба мы играли матчи с сестрами Полгар, он – с Юдит, я – с Софией, и виделись на протяжении трех недель ежедневно, и говорили много и о многом. Но были, конечно же, многочисленные встречи на турнирах и Олимпиадах в Тилбурге, Буэнос-Айресе, Пловдиве, Вейк-ан-Зее, Стокгольме, Салониках, наконец, у меня в Амстердаме, у него в Париже и последняя – в Монако, за несколько месяцев до его смерти. Попробую рассказать об этих встречах и о замечательном гроссмейстере Льве Абрамовиче Полугаевском.

Все, кто знал Леву в детстве, вспоминают маленького для своих лет, невероятно худого мальчика с быстрой речью и живыми черными глазами.

День, когда Борис Спасский впервые увидел Леву, он запом-

нил очень хорошо: «Это было в Ленинграде на детских соревнованиях в 1949 году. Было мне двенадцать лет, Леве на пару лет больше. Я замечательно тогда играл в «щелбаны» (не слишком трудная игра, смысл которой в выбивании щелчком шашек соперника с доски. – Г.С.). Привели тогда ко мне Леву Полугаевского – так он меня просто разодрал в эту игру. А несколькими днями позже мы сыграли нашу первую партию. И ее помню тоже. Я начал: 1.d4, Лева ответил: 1...f5. Я сыграл: 2.g4, и тут такая каша на доске заварилась, что мы, перепугавшись, уже через несколько ходов на ничью согласились».

Вижу хорошо лицо сияющего Левы после выигрыша одной из самых его известных партий на чемпионате СССР в Москве в 1969 году у Таля, когда я был секундантом потерпевшей стороны. Вариант, который встретился в этой партии, мы анализировали с Мишей еще в период подготовки его матча с Корчным, и, как нам казалось, довольно тщательно. Позицию, возникающую после 20-го хода черных, мы не стали рассматривать особенно подробно: в самом деле, у черных уже лишняя фигура, у белых под боем и ладья, и конь, прямых угроз у них не видно. Лева, однако, проанализировал дальше и глубже, он нашел продолжение атаки и красиво выиграл. Геллер вспоминал позднее, что вечером, накануне этой партии, он зашел в номер Полугаевского в гостинице и увидел расставленную на доске какую-то позицию. Та же самая позиция (после 25-го хода!) стояла на следующий день на доске в партии Полугаевский – Таль. Оказывается, в период подготовки Спасского к его матчу с Петросяном они анализировали вместе этот вариант, Лева же в своих разработках пошел еще дальше. Не исключая – задержись Геллер в комнате Левы еще минут на десять, он мог бы увидеть позицию не после 25-го, но и после 30-го, а то и далее, хода. Здесь, как мне кажется, нашли свое отражение два момента: во-первых, замечательные аналитические способности Левы, попытка докопаться до истины, высчитать все до конца – с одной стороны, и некоторая неуверенность в себе – с другой. Эта неуверенность в сочетании с чрезмерным уважением к действительно гигантам шахмат и переоценкой очень многих, которых он сам был выше на голову, мешала Леве в течение всей его шахматной карьеры, и особенно в молодые годы. «Самый трудный мой противник – я. Во время игры я часто невольно делаю из кандидата в мастера чемпиона мира», – сказал как-то он сам.

Во всеобъемлющем дебютном исследовании Полугаевский, стараясь низвести роль случайности до минимума, пошел во многом дальше и глубже Ботвинника. В методе подготовки и анализа, взятом на вооружение молодыми шахматистами сегодняшнего дня, и в первую очередь Каспаровым, ясно прослеживается направление Полугаевского. Метод, при котором соперник обкладывается новинками, как, по выражению С. Фурмана, флажками на зимней охоте обкладываются волки. В основе этого метода тотальной дебютной подготовки лежит труд. Где истоки этого у Левы? Было ли это его индивидуальной особенностью? Впиталось ли с генами еще со времен, когда бедному еврею из провинции для того, чтобы учиться, или просто жить в Петербурге или Москве, чтобы попасть в процентную норму, нужно было все время доказывать, что он лучше других? Или следует искать объяснение еще глубже, в удивительных строках О. Мандельштама: «Пусть это оскорбительно – поймите: есть блуд труда, и он у нас в крови»? Ответить на эти вопросы непросто. Но он и школу окончил с золотой медалью, и учился в трудном техническом институте, и работал несколько лет, совмещая все с шахматами. Кто еще из коллег-гроссмейстеров его поколения и уровня может сказать о себе такое?

В фундаменте его шахматных побед, наряду с незаурядным талантом, энергией и напором, лежит неустанный аналитический труд. Знаменитые тетради Полугаевского, куда он заносил скрупулезно результаты своих дневных и ночных бдений! Очевидцы рассказывают, как совсем молодой Лева Полугаевский шел с распростертыми руками и горящим взором навстречу начавшему уже двигаться поезду с забытыми там тетрадами – плодами многолетних анализов: «Не пушу!!!». Много лет спустя, весной 1991 года, оказался в аналогичной ситуации, когда, приехав поездом в аэропорт Схипхол, откуда мы вместе вылетали на Арубу, обнаружил, что забыл в вагоне все тетради с анализами и разработками. Поругивая для порядка за нерасторопность жену, был огорчен, конечно, но уже не так, уже не так. Не знаю, кстати, удалось ли остановить поезд в годы его молодости, но тетради, забытые много лет спустя, благополучно обнаружили через месяц в бюро находок, сданные нашедшим их проводником (цифры в сочетании с неполным латинским алфавитом, странными фигурками на диаграммах и текстом на непонятном языке).

Его тетради времен становления – это не только огромный аналитический труд, это и безжалостная критика по отношению к самому себе:

«Отказали нервы, не хватило выдержки...»

«Плохо разыгрываю позиции, в которых надо что-то жертвовать...»

«Слабо реализую преимущество...»

«Сильно волнуюсь и испытываю трусость при ведении атаки в неясных обоюдоострых позициях...»

Думаю, что на всех почти стадиях развития шахматиста такое беспощадное самобичевание способствует устранению недостатков – совершенствованию, кроме самого последнего этапа – борьбы за звание чемпиона мира, когда такая критика, подчеркивая негативный момент, становится тормозом для того, кто собирается стать выше всех и лучше всех.

Среди его дневниковых записей есть и такая: «Часто попадаю в цейтнот...» Действительно, в молодые годы нередко играл в цейтнотах. Они были, конечно, следствием того же самого: желания высчитать все до конца, найти в позиции единственно правильное решение. Но несмотря на жалобный взор из-под нависших бровей, играл в цейтноте, как правило, сильно. Вспоминаю, как Вячеслав Оснос, регулярно выступавший в 60-х годах в чемпионатах СССР, говорил: «Чем жалобнее смотрит Лева, тем сильнее и смертельнее его ходы...» Но после того, как перевалил за пятьдесят, стал менее удачлив при игре в условиях недостатка времени. Огорчался ужасно просмотрам в Тилбурге десять лет тому назад. «Ты можешь объяснить, ты же опытный тренер, почему, почему, ведь бывали же цейтноты и раньше, но почему теперь – в каждой партии, куда уходит время?» Отвечал мягкими банальностями: «Лева, ты слышал, что когда стареешь...» Не давал договорить, горячился: «Знаю, знаю, но почему же я?...»

«Сицилианская любовь» – так называется его последняя книга. Эта защита с детских лет вошла в дебютный репертуар Полуэкта и оставалась в различных модификациях фактически его единственным оружием на 1.e4. Рискну дать объяснение этому. Думаю, что по природе своего понимания игры, где главенствовала логика, он в глубине души полагал, что право выступления дает серьезное преимущество. Поэтому классические дебюты, в которых черные борются за постепенное уравнивание, казались ему

пресными, а может быть, даже опасными. Отсюда – сицилианская, дебют, в котором сдается, или правильнее сказать в унисон с его фамилией, полусдается центр, защита, в котором малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям, зато и пассивная, недостаточно энергичная игра белых карается беспощадно. Не могу себе представить Полугаевского, играющего классические варианты испанской или защищающего чуть худший эндшпиль в русской защите: он слишком хорошо знал сам, как реализуется маленькое преимущество. Признанием глубоких познаний Левы в этом дебюте был первый ход Фишера 1.c4 в их единственной партии, сыгранной в 1970 году и закончившейся вничью. Но Полугаевский – это не только сицилианская, не только ходы или форсированные варианты. До сих пор не потеряли значения его монументальные стратегические концепции при игре белыми против староиндийской защиты, а как он разыгрывал каталонскую, Нимцовича, дебют Рети! Все выигранные белыми партии Полугаевского как будто выпечены из одного теста, замешанного на глубоком проникновении в позицию и на логике игры.

Нельзя, впрочем, выиграть множество турниров, опираясь только на дебют, а один только список турниров, которые он выиграл или в которых по крайней мере попал в первую тройку, занимает около трех страниц. Молодым людям, которые застали Льва Полугаевского уже на излете, в последний отрезок жизни, в тяжелых цейтнотах, иногда и подставлявшим фигуры, уходившим от теории белыми на 2-м, на 3-м ходу (Лева? от теории?) и думающим, что он всегда так играл – мой совет: переиграйте его партии! Молодым людям, переезжающим с одного открытого турнира на другой, или даже героям линаресов, молодым людям, которые при помощи удара по клавише следят в основном за партиями своих сверстников-соперников и считающим рейтинг после каждой партии и каждого хода – мой совет: переиграйте, переиграйте лучшие партии Льва Полугаевского!

Василий Смыслов помнит Леву еще подростком и дружил с ним всю жизнь: «Лева был приятный и остроумный собеседник. В 1962 году играли мы с ним вместе в Мар-дель-Плата его первый большой международный турнир, который он и выиграл. Я видел уже тогда, что он блестяще, просто блестяще анализировал, и не случайно на межзональном турнире в 1964 году в Амстердаме

Лева помогал мне, и консультант он был тоже превосходный. Мышление его было очень конкретным, он был замечательный счетчик и шахматист дарования незаурядного. Смерть Левы для меня – это большая личная утрата, хотя он в последнее время в Париже жил, мы не забывали друг друга».

Вспоминает голландский мастер Берри Витхауз, у которого Полугаевский жил во время межзонального турнира в Амстердаме в 1964 году: «У нас почти каждый вечер бывали в гостях шахматисты – приходил Барендрехт или ван ден Берг, и мы засиживались далеко за полночь, анализируя или играя бесконечные партии блиц. Лева был, конечно, сильнее нас, и, хотя давал нам фору во времени, выигрывал почти всегда». Каждое утро в девять часов Лева спускался вниз, чтобы посмотреть на собаку Витхаузов по кличке Фиде, которая выпивала в это время примерно литр черного кофе. Подивившись на животное, Лева подымался к себе – досыпать, чтобы к одиннадцати быть у Смыслова. У жены Витхауза, Яни, до сих пор осталась единственная, но без какого бы то ни было акцента произносимая по-русски фраза: «Сегодня хорошая погода», говорившаяся обычно Левой.

Владимир Багиров был секундантом Полугаевского на протяжении многих лет: «Хотя мы были в ссоре в последние годы, скажу прямо – это был грандиозный шахматист, и то, что я – гроссмейстер, и моими достижениями в шахматах я во всем обязан Льву Полугаевскому».

Борис Спасский: «Лева был как бы в тени других, другие его заслоняли, но понимал шахматы он лучше многих из тех, кто добился больших успехов, чем он. Понимал он их так хорошо оттого, что много анализировал и проникал в позицию исключительно глубоко. Он продолжал развиваться и усиливаться и после сорока и подошел к своему пику годам к 45 – 47, когда достиг гармонии между счетом и интуицией. Этим он и отличался от меня, например, или Алехина или Капабланки, которые быстро распустились, но и довольно быстро отцвели. Вообще из группы шахматистов одной волны: Петросяна, Таля, Штейна, меня, Корчного и Полугаевского, только два последних стоят особняком. Они продолжали развиваться и после сорока благодаря неустанной аналитической работе, и Корчной достиг своего пика в Багио, когда ему тоже уже было 47. Я думаю, что во втором матче в Буэнос-Айресе Полугаевский был не слабее Корчного, а может быть,

даже и превосходил, но вся обстановка, созданная Корчным на матче, на Леву действовала угнетающе. И тренером он был замечательным, отходили в сторону всякие другие вещи, и оставалось лишь его чистое, тонкое понимание игры».

Виктор Корчной: «У нас с ним были сложные отношения. Да, счет у меня с ним действительно большой, положительный, но был период, примерно 60 – 66-е годы, когда он регулярно выигрывал у меня. Он довольно яркий шахматист и, безусловно, его имя останется в шахматной теории. Он мог бы по-серьезному бороться за мировое первенство, если бы навсегда не остался тем 15-летним мальчиком, каким он пришел в большие шахматы».

Смысл определенный в жестких словах Корчного есть, но что поделать, если не было у Полугаевского злобного бугорка, и ненависть была ему чужда. Что поделать, если до конца своих дней Лева сохранил действительно и детскость, и наивность, когда и с оттенком провинциальности, мягкость, нежелание обидеть, добродушие – качества, не способствующие борьбе за высший шахматный титул. И кто знает, может быть, компенсацией за эти качества явился вариант, его вариант в сицилианской защите – один из самых острых, вызывающих и рискованных.

Нельзя не согласиться со Спасским, что вся обстановка на матче Корчной – Полугаевский в Буэнос-Айресе в 1980 году – непожатие рук, мелкие конфликты и столкновения, все это повлияло на Полугаевского в неизмеримо большей степени, чем на Корчного, привыкшего к такой атмосфере еще со времен матча с Петросяном в 1974 году, который явился для него своего рода полигоном для последующих серьезных сражений. И кто знает, как бы закончился тот матч в Буэнос-Айресе, если бы борьба велась только на 64 клетках. Сам Лева, впрочем, был достаточно сдержан, когда говорил о своих шансах в борьбе за звание чемпиона мира.

Полугаевский: «...Действительно, по сравнению с другими игроками, у меня нет этого «инстинкта убийцы», наличие которого могло бы придать другой оборот некоторым моим матчам, и кто знает, я, возможно, мог бы достичь еще больших успехов. Без сомнения, у меня нет характера чемпиона. У меня нет этой воинственности Каспарова, Карпова или Фишера. Но, с другой стороны, у Эйве, Смыслова и Петросяна тоже отсутствовала эта разрушающая энергия». Трудно здесь не согласиться с Полугаевским. У него действительно не было холодного блика Карпова,

вонзающего в своего соперника сталь клинка. Ни его манеры анализировать, когда после окончания партии нередко поиски истины подменяются доказательствами собственного превосходства, часто уже приведенными во время игры, но еще и еще... Не было этого «Я», «Я», «Я», с чего начинается каждая вторая фраза Каспарова. И анализа после партии с ударами фигурами по доске и эго противника. Не было и той колоссальной, сконцентрированной на себе и выплескиваемой на соперника энергии Фишера. Но в момент, когда турнирная судьба припирала к стенке, когда требовалась только победа, мог и концентрироваться, и играть с напором удивительным. Соболезнования участников межзонального турнира в 1973 году по поводу почти невозможности выиграть по заказу партию последнего тура у Портиша вызвали у Левы крик души: «В конце концов, я и у чемпионов мира выигрывал!» И выиграл партию, с которой началось его непосредственное участие в борьбе за первенство мира.

На Западе я впервые встретился с Полугаевским в Голландии, в Хилверсуме, в 1973 году. Он играл там в АВРО-турнире вместе с признанными асами – Сабо, Геллером, Ивковым, молодыми: взрывным, уже тогда легко переходящим с одного языка на другой – Любоевичем, блестящим техником Андерсоном, опасным тактиком Саксом, худым, с длинными до плеч волосами, надеждой голландских шахмат Тимманом. Мы гуляли слевой после игры и разговаривали о многом, но очень часто это был его монолог, с вопросами, задаваемыми им время от времени. Иногда Лева, не дожидаясь моей реплики, сам же и отвечал на них, но мне, прошедшему уже кой-какую доннеровскую школу, это было не в диковинку. Думаю, что и он сам понял, уже при переезде в Париж в 1991 году, что ответы эти и сформулированные им положения (а мы говорили в основном о жизни на Западе) не всегда соответствуют действительности. В вопросах этих он как бы примерялся, как и почти каждый советский человек, оказывавшийся тогда по эту сторону железного занавеса (пусть созерцательно и теоретически): интересно, а что, если бы я очутился вдруг здесь? Двадцать лет спустя удивительная жизнь, тасующая судьбы, как карты, и неизвестно никогда, как и куда ляжет масть, перенесла его в Париж. Эта новая жизнь с другими понятиями, отношениями, новый язык (как непросто в конце шестого десятка) с нелюби-

мыми так артиклями, неизвестно кем и зачем придуманными, не убавила забот – они просто стали иными.

За эти почти два десятилетия я сыграл с Левой с десяток партий, проиграв одну в Тилбурге в 1983 году и не выиграв ни разу. Среди ничьих было и немало памятных. Одна в Винковцах, в Югославии, в 1976 году, когда я первый раз выполнил гроссмейстерскую норму – помню, чудом ушел черными... Другая в Буэнос-Айресе на Олимпиаде в 1978 году, когда сборная СССР впервые не выиграла золотые медали. Советская команда играла тогда с Голландией в последнем туре, и ей обязательно нужно было добиться победы с крупным счетом, чтобы догнать лидировавших венгров. Помню, как Лева нервничал и до партии, и в конце ее, когда я не сразу согласился на предложенную ничью. Знаю, что из него, набравшего «плюс пять» на своей доске и сыгравшего лучше всех в советской команде, сделали одним из козлов отпущения после проигранной Олимпиады (а именно так расценивалось в то время второе место команды Советского Союза). Впрочем, роль эта была в каком-то смысле знакома Лева с детства, когда он стал объектом шуток, подтруниваний, розыгрышей. Даже его имя, о фамилии уж и говорить не приходится, обыгрывалось шахматными поэтами и журналистами: половинка, полуизвестен, полугроссмейстер и т.д. «Лева из Могилева» – фраза напрашивалась сама собой, тем более что Лева действительно родился в Могилеве. Из веселых историй, связанных с ним, и розыгрышей молодого Полугаевского его сверстник Гуфельд мог бы составить маленькую книжку. Часто Лева и сам смеялся со всеми, но кто знает, не возникало ли у него порой внутри чувство гоголевского Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

В Салониках в 84-м, во время Олимпиады ему исполнилось пятьдесят (за день до этого наша шестичасовая партия закончилась вничью). «Не понимаю, – удивлялся Лева, – как это мне – полтинник? Я же вчера еще играл в юношеском первенстве СССР, а сейчас вдруг – полтинник. Нет, ты можешь сказать, как это может быть?..»

Он не понимал тогда еще, что талант – есть не что иное, как способность обрести собственную судьбу, и что он, Лев Полугаевский, обрел свою судьбу. В непрерывных сборах, подготовке к полуфиналам, финалам, межзональным турнирам, кандидатским

матчам, в заботах о семье, квартире, машине, даче мчалась жизнь. В погруженности в быт, в заботы сегодняшнего дня, он был по-своему очень земной человек.

Вспоминает Спасский: «Были как-то мы – целая группа grosмейстеров – в 70-м, что ли, году на приеме у Тяжельникова (в те годы – заведующий отделом агитации и пропаганды при ЦК КПСС. – Г.С.). Он говорил долго о важности нашего вклада в стройки коммунизма, о наших поездках туда. Не помню уж, что отвечали другие, я же сразу сказал, что стройки коммунизма – не для меня, Лева же начал что-то спрашивать о суточных в пути». Но членом партии, в отличие от некоторых его коллег, не был, а когда предлагали, предпочитал отмалчиваться. Помню, как в середине 80-х у меня дома он стал рассматривать пластинку Вилли Токарева, певшего в ресторанах на Брайтон-Бич в Нью-Йорке и модного тогда в Москве. «Тебе он нравится?» – спросил я. «Да как тебе сказать, но в Москве все имеют». В Москве Лева принадлежал к кругу, который за правило считал не отставать от жизни, все иметь первыми, будь то маленькое радио-транзистор в 60-х или видео, к примеру, много позже. К кругу людей, тоже выезжающих за границу, тоже добившихся успеха. В ту же высокую категорию престижности вошло где-то в конце 80-х – начале 90-х: выехать за границу, не эмигрировать, а просто выехать, посмотреть-пожить или послать на учебу детей. Лева стал подолгу бывать в Париже – ведь за границей он отравлен был уже давно, а в 1991 году окончательно поселился там.

Когда его не стало, подумалось: если бы не завертела и не ускорила все до невероятия парижская круговерть, от которой голова пухла, может быть, и жил бы еще: он ведь – из породы долгожителей, и отец, и мать его легко перешагнули восьмой десяток. Сказал об этом очень осторожно Ире – его вдове. «Да что ты, – отвечала, – разве ты Леву не знаешь – он в Москве был бы еще более беспокоен». Трудно было с ней не согласиться, ведь формула *Ubi bene – ibi patria** в конце концов придумана не им. И вряд ли сиделось бы ему спокойней в Москве или на даче, думая что где-то – в Нью-Йорке! Лондоне! Париже! – настоящая жизнь – без него. Вспомнился невольно вздох старика Сократа о ком-то, вернувшемся из дальних странствий: «Как же он мог измениться, если все это время таскал за собой самого себя».

* Родина – там, где лучше. – лат.

После его переезда в Париж мы довольно часто говорили по телефону, иногда и виделись. Помню его длинный монолог о всем других теперь шахматах, о их будущем, о компьютерах. Говорил о том, что поколению, созревшему без компьютера, перестроиться очень трудно, что сам он пользуется компьютером только при подготовке статей, что длительные занятия с ним иссушают, гасят игровой момент, утомляют, лишают свежести, необходимой во время игры. Полагал, что чрезмерные занятия с компьютером имеют отрицательное влияние на игру Белявского, в какой-то степени – Юсупова. Он был всегда полон идей, иногда чудных и нереальных, нередко логичных и воплощавшихся на практике. Излагая их, переспрашивал: «А ведь неплохо, скажи, ведь, правда, неплохо?» Сейчас это мало кто помнит, но и турнир «Ветераны – сильнейшие женщины-шахматистки», и знаменитые турниры в Монако последнего времени, проводящиеся под патронатом ван Оостерома, тоже во многом его идеи.

Но сам стал играть и реже, и хуже. Сказывался, конечно, и возраст, и новые заботы. Но в еще большей степени – болезнь, начавшаяся провалами в памяти и обернувшаяся опухолью мозга. Сказал как-то жене во время турнира: «Знаешь, Ира, я не вижу центра доски». Впрочем, операция, сделанная за полтора года до смерти, прошла вроде успешно, и восстанавливался уже, и строил планы: «Понимаешь, в анализе я уже хорош, и вижу многое, почти совсем как раньше, но играть, играть еще трудно ...»

Я видел Леву в последний раз в Монако за несколько месяцев до смерти. Болезнь и операция смели остатки волос на его голове – раньше он характерным движением обеих рук ловко камуфлировал двумя-тремя прядями обширную лысину. Быстро уставал, но глаза и улыбка были прежними, и с удовольствием следил за течением партий на мониторах в пресс-центре турнира. Разве что речь не лилась таким водопадом, как прежде, и впервые услышал от него, раньше такого далекого от религии, слова: «Бог», «вера» и «я ничего никому не сделал в жизни дурного». При расставании, теплом очень, обнялись и уговорились, что я при первой возможности приеду в Париж для того, чтобы сыграть несколько тренировочных партий, которые помогли бы ему снова вернуться к практике. Помню, еще сказал ему неосознанно: «Прощай!» – замечательное по смыслу русское слово. Здесь и слово расстава-

ния, и одновременно прощай-прости, прости, если я тебя чем обидел. Но уже через несколько дней по возвращении в Париж у него снова начались боли. По традиции страны, в которой Лева прожил почти всю свою жизнь, доктора не говорят пациенту о безысходности его болезни. Считается правильным также и близким скрывать от него жестокую правду. Так было и в Левином случае, ему говорилось, что это – вирус и что все должно обойтись. Понимал ли он сам о возвращении страшной болезни, в большинстве случаев означающей саму смерть?

Конечно, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже. Был затронут самый тонкий, удивительный орган – мозг, и тяжело умирал Лев Полугаевский. Это из замечательного русского писателя, тоже умиравшего в Париже: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить».

В минуты просветления плакал, видя свою беспомощность со стороны, говоря: «Как же так, ведь надо же работать, работать...» И беспокоен был очень, и каждое утро брал бумагу, относя ее к воображаемому факсу, повторяя снова и снова: «Работать, надо работать...» Сказал как-то сестрам в больнице: «Вы знаете, я, кажется, вчера не узнал собственную жену». Сестры, любя его и зная, как доставить ему удовольствие, стали играть партию в шахматы друг с другом. Смеялся очень, глядя на их невозможные ходы, повторяя все время: «It's bad, it's bad...»

На следующем витке его болезни медленно угасавшее сознание отбросило чужие языки: английский, с грехом пополам выученный французский, оставив один – родной. Из сознания ушла уйма вещей: квартира и страховки, франки и доллары, контракты и обязательства, все, чему посвящалась масса времени и что казалось таким важным и неотложным. И уже не надо было тревожиться о том, что скажут в Комитете и Федерации, как и что скажет или подумает кто-либо вообще. Осталось одно – то, что захватывало худенького десятилетнего мальчика с черными блестящими глазами в далеком военном Куйбышеве, что сделало его имя известным миллионам – любителям древней, замечательной и иногда такой жестокой игры. Шахматы дали ему все – мир, который он видел собственными глазами, материальное благополучие, известность, наконец, самое главное – возможность выразить самого себя. Они не дали ему старости – не такого уж плохого отрезка человеческой жизни, если только не знать, чем она явля-

ется по отношению к началу. Не могу, впрочем, представить себе Леву стариком, он ведь и умер молодым, ведь юность – это не пора жизни, а скорее – свойство души.

Мозг его, отягощенный быстро растущей опухолью, сплетал удивительные сочетания, откликаясь только на одно – шахматы. Шахматная доска с фигурами всегда была рядом с его кроватью, и иногда он начинал партию с воображаемым противником, и хмурил брови, и морщил лоб, и поправлял несуществующие волосы, и смотрел испытывающе-жалобно, надевая шахматное выражение лица, знакомое всем, кто когда-либо играл с ним. В самом конце не мог и этого, и жена, едва ли не до последнего дня стучала фигурами по доске, вызывая звуками чудные, навсегда вошедшие в душу ассоциации. Или вдруг давал характеристики коллегам-гроссмейстерам, по словам жены, удивительно меткие, иногда и безжалостные, высказывая все, что копилось где-то в глубине души и что никогда не решался сказать или написать.

Говорил жене не раз: «Корчной – мой любимый шахматист, ты даже не можешь себе представить, какой это колоссальный шахматист». И не менял мнения, как бы Корчной о нем плохо ни говорил или писал, и продолжал здороваться, даже когда тот отворачивался в сторону. И незадолго до смерти, когда остальные имена ушли даже из подсознания, осталось одно, которое он повторял шепотом: «Корчной». И поднимал вверх большой палец в знак оценки его игры. В один из самых последних дней его жена сказала: «Знаешь, через два месяца будут играть матч Пикет и Полгар. И ты будешь секундантом у Юдит, а Корчной у Пикета, и вы таким образом сыграете матч...» Идея эта привела его вдруг в хорошее настроение и даже развеселила, и повторял: «Да, мы сыграем еще, мы сыграем...»

В психологии считается доказанным парадокс: заложник, жертва вдруг начинает испытывать теплые чувства по отношению к своему мучителю. Было ли похожее чувство у Левы по отношению к Корчному, дважды вставшему у него на пути к званию чемпиона мира, – не знаю, сказать не берусь. Не могу согласиться с объяснением Корчного, что в Полугаевском заговорила больная совесть из-за того, что он, по словам Корчного, писал неправильные корреспонденции для советской прессы во время его матча с Карповым. Не думаю также, что дали выход сожаления по пово-



Сеанс одновременной игры Бориса Спасского в Ленинградском дворце пионеров, 1956. Крайний справа (сидит) — автор книги.



Генна Сосонко, Бессел Кок и Гарри Каспаров. Брюссель, 1987.



Автор книги наблюдает за анализом партии Карпов – Корчной.
Тилбург, 1986.



Михаил Ботвинник и Генна Сосонко. Брюссель, 1988.



Михаил Таль.



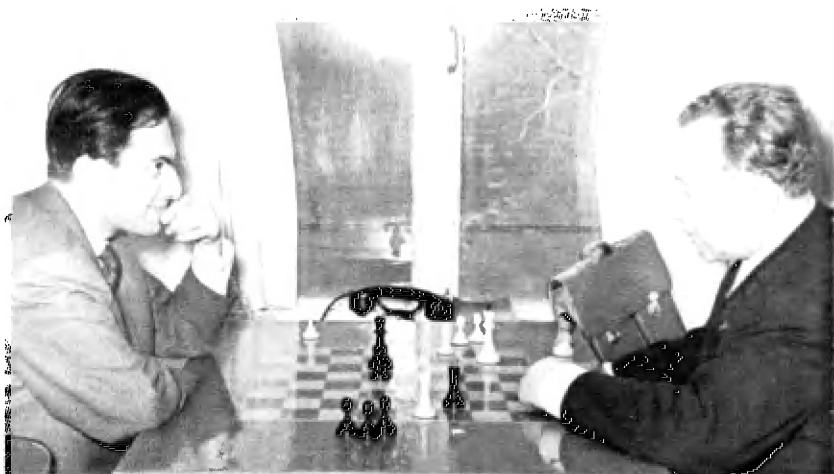
Борис Спасский, Михаил Таль,
Тигран Петросян.
25-й чемпионат СССР.
Рига, 1958 год.



Михаил Таль. 60-е годы.



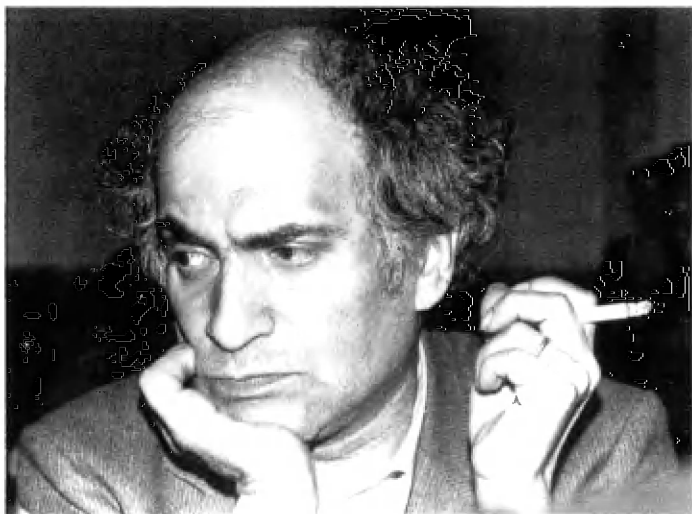
Ботвинник - Таль. Матч-реванш на звание чемпиона мира. Москва. 1961 год.



Михаил Таль и его тренер Александр Кобленц. 60-е годы.



Таль наблюдает за партией Сосонко — Браун. Вейк-ан-Зее. 1976.



Михаил Таль, 80-е годы.



Михаил Таль и Генна Сосонко во время открытия турнира СВИФТ.
Брюссель, 1987.



Чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник, 60-е годы.



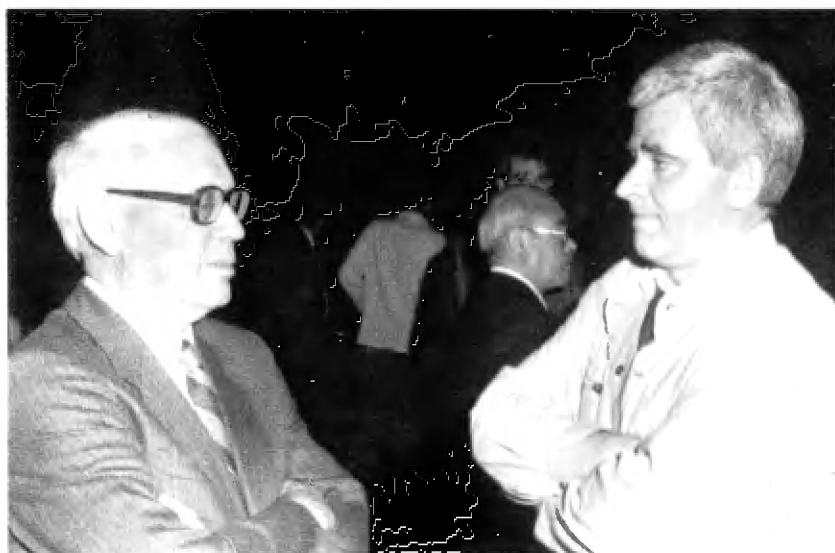
За игрой Михаил Ботвинник и Григорий Левенфиш, 1937.



Матч-реванш на первенство мира Ботвинник – Таль. Москва, 1961.



Михаил Ботвинник,
Белград, 1970.



Михаил Ботвинник и Борис Спасский. Брюссель, 1989.



Пять чемпионов мира.
Борис Спасский (лежит).
Анатолий Карпов, Гарри Каспаров,
Михаил Ботвинник, Михаил Таль.
Брюссель, 1989.



Ботвиннику - 80!
Брюссель, 1991.



Михаил Ботвинник и Генна Сосонко. Брюссель, 1991.



Лев Полугаевский, 80-е годы.



Лев Полугаевский,
Тигран Петросян,
Фидель Кастро.
Олимпиада в Гаване, 1966.



Виктор Корчной, Анатолий Карпов, Тигран Петросян, Лев Полугаевский.
Чемпионат СССР в Москве, 1973.



Лев Полугаевский, Карен Григорян, Василий Смыслов.
41-й чемпионат СССР. Москва, 1973 год.



Ульф Андерссон наблюдает за партией Полугаевский – Сосонко.
Тилбург, 1983.



Лев Полугаевский,
70-е годы.



София Полгар, Лев Полугаевский, Юдит Полгар, Генна Сосонко.
Аруба, 1991.

ду отсутствия у себя жесткости, являющейся почти синонимом грубости и бестактности, резкости, или того, что в Советском Союзе называли спортивной злостью. Полагаю, что это было просто чувство радостного изумления перед тем, что не хватало где-то в шахматах Леве самому – игроцкого элемента в этой такой логичной игре, применения вдруг неожиданного для соперника варианта, пусть не всегда корректного, но выводящего того из привычного состояния, умения вдруг резко изменить характер позиции, решимости сказать «нет» на всячем флажке в обоюдостром положении в ответ на предложенную соперником ничью.

Через несколько дней, когда Леву покинули и эти последние видения, когда ушли шахматы, ушел и он сам. Лев Полугаевский умер 30 августа 1995 года в Париже, городе, где жили и другие шахматисты, родившиеся в России: Осип Бернштейн, Савелий Тартаковер и Александр Алехин. Он и похоронен, как и Алехин, на кладбище Монпарнас в Париже, и могилы их совсем недалеко.

Сентябрь 1995

ШАХМАТНЫЙ КОРОЛЬ ОДЕССЫ

Второе августа 1974 года было выходным днем перед заключительным туром традиционного тогда турнира IBM в Голландии. Только что закончился последний сеанс в кинотеатре «Тушинский», и вот я стою вместе с Владимиром Тукмаковым на улице вечернего бурлящего Амстердама. «Ты думаешь, лучше предложить ничью прямо сейчас или все же дожидаться завтрашней партии?» – спрашивает Володя. У него прекрасное настроение, он лидировал весь турнир и, опережая конкурентов на целое очко, практически обеспечил себе первое место. Партия последнего тура с Геллером не должна принести много волнений: у Геллера турнир сложился не очень – только 50% очков, ему не на что претендовать, да и вообще – оба одесситы, не говоря уже о том, что и отчитываться придется обоим в Спорткомитете СССР. «Я не решился постучать к нему», – вспоминал Тукмаков на следующий день на закрытии турнира, в котором он поделил 1 – 3-е места, – «полоска света выбивалась из-под двери, на ручке которой висела табличка «Не беспокоить», и я явственно слышал стук шахматных фигур по доске». Хотя партия последнего тура и длилась сорок ходов, из дебюта Тукмаков не вышел: он стоял безнадежно уже с пятнадцатого хода.

Сейчас, четверть века спустя, вижу хорошо Геллера того времени: немногословного, с характерной мимикой, нередко с показыванием головы, сопровождаемым скептическим поднятием бровей; клетчатый пиджак, который он аккуратно вешал на спинку стула, пепельницу, наполненную окурками, всегда стоявшую рядом с ним. В то время разрешалось курить прямо за партией, а курил он очень много. Упрямый с ямочкой подбородок, медлительная походка вразвалочку – всем своим видом Геллер напоминал скорее бывшего боксера или немолодого боцмана, сошедшего на берег, чем гроссмейстера мирового класса.

Этой же самой походочкой он поднялся на сцену Центрального Дома железнодорожников в Москве в далеком 1949 году, году своего первого чемпионата СССР, чтобы остаться в элите мировых шахмат на несколько десятилетий. Все эти годы он стоял на самой вершине шахматной пирамиды несуществующей теперь

страны, о которой профессионал Запада Ханс Рее говорил: «Когда я бываю в СССР, мне кажется, что любой кондуктор трамвая играет в шахматы лучше меня». Тогда же была сенсация – выигрыш в последнем туре белыми у Холмова давал молодому одеситу, только что ставшему мастером, золотую медаль чемпиона страны. Испанская, редкий вариант Берда, избранный Холмовым, к которому Геллер оказался неподготовленным, и – проигрыш. Это случится с ним еще не раз – проигрыш в последнем туре, нередко и в важнейших партиях: Кересу – в матче, например, или Саксу – в Москве в последнем туре межзонального. Перехлест эмоций? Игроцкий азарт? Игра на максимум?

Во время московского дебюта Геллеру было 24 года, гроссмейстеры-профессионалы сегодняшнего дня нередко отыграли в этом возрасте уже сотни партий на самом высоком уровне. У Геллера же на лучшие для роста шахматиста годы пришлась война, а тогда было не до шахмат. Гроссмейстером он стал только через три года, а в 1953-м играл уже свой первый кандидатский турнир – знаменитый претендентский турнир в Цюрихе. Таких турниров на первенство мира набралось у него в общей сложности шесть за всю карьеру; в одном из них, в 62-м году, отстал от победителя – Петросяна – только на пол-очка. Победы во многих международных турнирах, с десятков Олимпиад, участие в 23 первенствах СССР – сильнейшей тогда шахматной державы мира. Он выигрывал эти чемпионаты дважды – в первый раз в 1955-м, во второй – в 1979-м, в 54 года – удивительный рекорд. Но дело не только в спортивных регалиях и званиях – Ефим Геллер оставил свой яркий след в шахматах.

Вспоминает Василий Смыслов: «Был он настоящим классиком шахмат, стоял на передовых позициях в те времена, когда шахматы были в расцвете в нашей империи, и побеждал всех без исключения выдающихся шахматистов. А что чемпионом мира не стал, так это свыше дается, для этого надо звезду особую иметь в судьбе – значит, не дано ему было этой звезды, а шахматист был замечательный, яркий, динамичный».

Борис Спасский говорит о Геллере, как об очень цельном игроке: «Под его продуманностью даже Фишер часто ломался. Когда Геллер был в своем ключе, он разбивал кого угодно. И я восхищался всегда этой вот его цельностью, продуманностью – не только прекрасно поставленным дебютом, это само собой, но именно

продуманностью игры после него, игровыми планами. Он был гроссмейстер очень высокого класса и играл одну-две партии в год, которые определяли направление в шахматах в том или ином дебюте. Такой, например, была его партия против Смыслова в защите Грюнфельда из матча Геллер – Смыслов 1965 года, та, где он несколько раз жертвовал ферзя».

Анатолий Карпов: «Идеи у Геллера были глубокие, хотя мне еще Ботвинник говорил в свое время: все идеи Геллера нужно трижды проверить. И действительно, увлекшись, мог и пропустить кое-что в анализе, но идеи бывали очень глубокие. Ну, и, конечно, упрямый был в анализе безумно, но, может, в шахматах это иногда и неплохо – отстаивание своих идей, вот и Фурман был тоже упрямый. Но в тренерском коллективе Геллер был человек тяжелый, старался вытеснить остальных, поэтому я в какой-то момент и прекратил с ним работу».

Марк Тайманов сыграл с Геллером множество партий: «Одна из наиболее памятных – из последнего тура чемпионата страны в 1952 году, когда он выиграл у меня, а Ботвинник каким-то чудом у Суэтина, и Ботвинник догнал меня. Геллер имел свое ярко выраженное творческое кредо, обладал большой стратегической фантазией, был беззаветно влюблен в игру. Геллер всегда был настроен на максимум. Помню мемориал Алехина в Москве в 1956 году, сейчас сказали бы «супертурнир». Играли и чемпион мира, и все сильнейшие гроссмейстеры: Ботвинник, Смыслов, Бронштейн, Керес, Глигорич, Найдорф, Сабо, Унцикер. Сам Геллер в турнире не играл. «Ну, место пятое – было бы нормально», – ответил ему на вопрос, как думаю сыграть. Усмехнулся в ответ характерно: «А я без мыслей о первом месте просто играть бы не мог». Вообще говоря, все наше поколение: Авербах, Геллер, я, в меньшей степени Бронштейн и Петросян – было приучено к постоянной и глубокой аналитической работе, но в этом отношении, думаю, Геллер выделялся среди нас».

Глубокая аналитическая работа Геллера над шахматами всегда имела одну цель: найти лучший ход в позиции, не просто хороший, а лучший, определяющий саму сущность позиции. Он был полностью погружен в шахматы, полностью сконцентрирован на них. Лев Альбурт, помнящий Геллера по Одессе конца 50-х годов, отмечает в нем редкое сочетание усидчивости и изобретательности, полное отсутствие легковесности: «Если есть выражение

«Down to earth», то о Геллере определенно можно сказать «Down to chess».

«Причем здесь ничья? Разве в этом дело? – выговаривал он мне после проигранной Властимилу Янсе партии в Амстердаме в 1974 году. – У вас же лучше было. Где? Ну покажите, покажите. Мне же за позицию обидно». Это «за позицию обидно» слышу, как сказанное вчера. «Каждое утро в Крыму, где мы готовились к матчу с Фишером, – вспоминает Спасский, – я видел Геллера за одной и той же позицией: сицилианская с ферзем черных на b2. Он пробовал ее и так, и этак, и с ладьей на b1, и по-другому, хотя я ему и говорил, что правильная идея – Kb3. Но он все стоял на своем, упрямый был очень, мне потом и Карпов говорил, что упрямый, очень упрямый... Но усидчивость была в нем необыкновенная. Можно сказать, что он развил свой талант задницей, а задница, в свою очередь, развивалась посредством таланта...» Сам Геллер говорил: «Вот, разнервничаюсь или просто неприятности какие, посижу за шахматами этак часов пять-шесть – постепенно приду в себя...» По свидетельству тех, кто знал его близко, он мог днями находиться в таком состоянии. Очевидно, что время, проведенное Геллером за анализом, во много раз превышало то, когда рядом тикали шахматные часы, а напротив сидел соперник. Шахматы не отпускали его ни днем, ни ночью. «Иногда во сне шептал шахматные ходы, – вспоминает его вдова Оксана, – или, просыпаясь ночью, подходил к столу, чтобы записать пришедший вдруг в голову вариант».

На Олимпиаде в Люцерне в 1982 году говорил с ним как-то о расширении дебютного репертуара. Геллер советовал мне включить в него закрытый чигоринский вариант испанской. Помню, спросил его: «И сколько времени потребуется, чтобы освоить это?» Он задумался ненадолго: «На вашем уровне?» (Я играл тогда регулярно в Тилбурге и в Вейк-ан-Зее – сильнейших турнирах того времени). «Все собрать, обработать, понять, наиграть? Ну, года полтора...» Дело было, разумеется, еще в докомпьютерные времена, но характерен сам подход к вопросу.

Он рано понял старую истину, что удача ждет того, кто к ней хорошо подготовился. Знания его в дебюте были исключительно глубоки, и известны слова Ботвинника, что «до Геллера мы староиндийскую защиту по-настоящему не понимали». В дебютной

теории всегда есть понятие «что носят». Так, сейчас, к примеру, «носят» вариант с Сс5 в испанской черными, систему с b4 и Le1 в староиндийской или с Лb1 белыми в Грюнфельде. Так было и в его время. Геллер никогда не обращал на это внимания, сам был законодателем мод, следуя собственным идеям и принципам. Бронштейн, избравший на межзональном турнире в Петрополисе в 1973 году тяжелый вариант защиты Алехина и проигравший Геллеру фактически без борьбы, отвечал, оправдываясь, на вопрос одного из коллег: «А что мне было с ним играть, ведь он же все знает». Превосходно ставя начало партии, сам Геллер понимал очень хорошо, что дебют является только прелюдией борьбы, подчеркивал, что надо уметь играть все – и острый миттельшпиль, и скучный эндшпиль, уметь вести и пассивную защиту, и темповую игру. Говорил молодому Дорфману об уже вышедших на всесоюзную арену Белявском и Романишине: «Вы не берите с них примера, они ведь – однорукие шахматисты», подчеркивая, по его мнению, пристрастие обоих к определенному типу позиций. По многим партиям Геллера можно учиться высочайшей технике игры, технике, которая, по определению Владимира Горовица, есть не что иное, как совершенно ясное представление о том, чего вы хотите, и обладание полной возможностью для совершенного выполнения этой задачи. Думаю, что это определение техники применимо не только к музыке, но и к шахматам, и что Ефим Геллер обладал такой техникой.

Виктор Корчной сыграл первую партию с Геллером полвека тому назад: «Было это в 1951 году в первенстве общества «Наука», и проиграл я тогда черными гамбит Шара – Генига... Был он, конечно, блистательный игрок и внес много нового, своего в теорию дебюта. Может, кто и играл так раньше, но его трактовка, например, невзрачного хода Се2 в сицилианской заставила по-другому взглянуть на весь комплекс этих позиций. В своих лучших партиях Геллер приближался к гениальности, хотя это его я имел в виду, когда писал в своей автобиографии, что гений и злодейство – вещи совместимые. Все эти его вместе с Петросяном козни и заговоры против меня. В молодые годы был он преимущественно тактиком, но потом возмужал и начал по-своему трактовать и дебют, и шахматы вообще, но что же касается человеческих качеств...»

Действительно, начинал Геллер как тактик, хотя сам, огляды-

ваясь назад уже в зрелом возрасте, вспоминал: «Важность стратегической постановки партии я понимал даже в те годы, когда выводил ладьи вперед пешек и бросался в лихие фигурные атаки. Но все же на рубеже 50 – 60-х годов во мне произошел, на мой взгляд, внутренний сдвиг. Неверно считать, что это переход от тактики к стратегии. Если попытаться сформулировать, в чем он заключался, то речь может идти лишь о непрерывном, постоянном переходе к более глубокой игре. Лентяем я никогда не был, но именно в 58 – 60-х годах стал по-настоящему много заниматься».

Он был замечательный аналитик. Один из наиболее известных примеров – красивая ничья в отложенной и казавшейся безнадежной позиции из партии Ботвинник – Фишер на Олимпиаде в Варне в 1962 году. Ботвинник вспоминал потом, что Геллер нашел парадоксальную идею глубокой ночью: две разрозненные пешки успешно борются против двух связанных проходных в противоречии, казалось бы, со всеми законами ладейного эндшпиля. Идея эта оказалась совершенно неожиданной для Фишера.

Но есть большая разница между анализом и процессом самой игры. Шахматная партия – не теорема, и выигрывает в ней далеко не всегда самый логичный и последовательный, но нередко наиболее выносливый, практичный, хитроумный или просто удачливый или счастливый. Звучит парадоксально, но глубина замыслов Геллера, поиски лучшего, единственного хода нередко оборачивались против него, и его недостатки являлись прямыми продолжениями его достоинств. Раздумья по часу и более, бывало, вели к цейтнотам, и порой здание, выстроенное с любовью часами, разлеталось в несколько минут. Неслучайно также, что количество партий, проигранных просрочкой времени, у Геллера довольно высоко. В такие минуты на лице его появлялась полная отрешенность, а рука просто не поднималась сделать плохой или первый попавшийся ход. Таль заметил как-то, что число одноходовых зевков у Геллера больше, чем у любого другого гроссмейстера его класса. Объяснение здесь очевидно. Забираясь мыслью высоко, Геллер не замечал иногда того, что лежало на поверхности. «Не может узреть, что у него под ногами, а воображает, что разглядит, что на небе», – хохотала фракиянка над провалившимся в яму мудрецом более двух тысяч лет тому назад.

«Сделав этот ход, я сразу заметил другой, лучший, – вспоминал как-то сам Геллер, – после этого я просто уже не мог играть эту партию». Чувство, уверен, совершенно незнакомое, например, Карпову, который, невозмутимо продолжал бы бороться в новой, изменившейся ситуации. Стремление к логике и законченности играло, увы, иногда негативную роль для Геллера – практически-го игрока.

Но было у него еще одно уязвимое место, была у него, по выражению Спасского, «стеклянная челюсть» – Геллер, бывало, терялся при неожиданной встречной игре. «Когда начиналась такая игра, ему было трудно, поэтому он так и не мог ко мне приспособиться», – вспоминает экс-чемпион мира.

На претендентском матче Геллер – Корчной в 1971 году в Москве я был секундантом Корчного. Решающей оказалась тогда 7-я партия. Она была отложена и должна была доигрываться на следующий день. Хотя позиция белых, которыми играл Корчной, и была лучше, прямого выигрыша, как мы ни бились, найти не удалось. Был взят даже тайм-аут перед доигрыванием, что было возможно в те сравнительно недавние, но теперь кажущиеся почти цукертортовскими времена. Но и целый день анализа не принес ничего конкретного, и тогда был принят план, предложенный Вячеславом Огносом: немедленно после начала доигрывания вместо длительного позиционного лавирования пожертвовать фигуру, что и сделал Корчной. Объективно при правильной защите жертва эта должна была привести к ничьей, но Геллер сразу же надолго задумался, попал в цейтнот и проиграл фактически без борьбы. Матч был решен. Не случайно, отмечая замечательный талант Геллера, Корчной как-то заметил, что иногда его можно было взять просто нахрапом...

Но не только перемена обстановки на доске была его уязвимым местом. Шахматная партия – это всплеск эмоций, очень часто невидимых публике, и Геллер не всегда мог держать свои эмоции под контролем. Помню, как на турнире в Лас-Пальмасе в 1980 году он черными в основной позиции новоиндийской защиты рокировал на шестом ходу и предложил мне ничью. Решение это он принял, очевидно, еще дома, и теперь спокойно взирал на доску с высоты своего рейтинга, реноме и положительного счета, который он выстроил со мной к тому времени. Я подумал немно-

го, сказал, что хочу играть, и ответил жертвой пешки, входившей в моду в то время. Лицо Геллера совершенно изменилось, он переводил взгляд с меня на доску, на Петросяна, стоявшего за моей спиной, снова на доску, не делая ответного хода в течение четверти часа. Наконец он совладал с собой и взял пешку. Партия та закончилась вничью, но с Фишером на Майорке на межзональном в 1970 году получилось по-другому. Геллер решил на этот раз не ввязываться в сицилианские дебри и вывел белыми на первом ходу королевского коня. Фишер в свою очередь не стал играть староиндийскую и избрал академическое построение. Шестнадцать лет спустя оно часто встречалось в матче Карпова с Каспаровым, когда Карпов пытался использовать минимальное дебютное преимущество белых. Геллер же, побив пешку на седьмом ходу, предложил ничью. Первой реакцией Фишера был смех. Засмеялся и Геллер: ситуация была ясной – три последние партии американец Геллеру проиграл, к тому же цвет фигур, да и сам характер позиции, казалось, предопределяли результат. Внезапно Фишер прекратил смеяться, нагнулся и что-то сказал Геллеру. Геллер не владел иностранными языками. Я не раз видел, как к нему обращались по-английски или по-немецки: широкая улыбка обычно появлялась на его лице, и он дружески кивал головой, что бы ему ни говорили. Неизвестно, что сказал будущий чемпион мира, один из зрителей утверждал, что он явственно слышал: «Too early», но что бы Фишер не сказал Геллеру, тому стало ясно, что Фишер хочет продолжать партию. Геллер ужасно покраснел, уже через два хода в простой позиции задумался на целый час, а еще через несколько ходов остался без пешки. Ладейный эндшпиль, возникший вскоре на доске, носил, впрочем, скорее ничейный характер. Партия была отложена, но эмоциональное равновесие восстановить так и не удалось. После возобновления игры ничья казалась неминуемой до тех пор, пока Геллер на 71-м ходу не совершил роковую ошибку.

Сам он прекрасно понимал, что дело здесь не только в полях и диагоналях. После проигрыша с разгромным счетом Спасскому он писал о своем сопернике: «Поразительное хладнокровие и спокойствие помогают ему в самые трудные минуты борьбы находить лучшие практические меры. Удивительная невозмутимость и уверенность, с которыми он иногда делает даже отнюдь не хорошие ходы, бесспорно, ставят его противников в сложное положение».

Самому Геллеру было далеко до невозмутимости, эмоции переполняли его, они рвались наружу. Но если при игре с представителями своего поколения, Таймановым или Бронштейном, например, дело ограничивалось внутренней борьбой, то с более молодыми он, азартный и эмоциональный, не мог совладать с собой порой даже во время партии.

Вспоминает Иосиф Дорфман: «В последнем туре зонального первенства страны в Ереване в 82-м году мне для выхода в межзональный турнир нужна была только победа, тогда как Геллера устраивала ничья. В то время, пока я обдумывал ход, Геллер, стоя напротив, говорил, нависая над столом: «Все равно ты у меня не выиграешь». Партия закончилась вничью, и Геллер, уже успокоившись, извинялся».

Хооговен-турнир 1975 года получился на редкость сильным. Я шел в лидирующей группе, в 12-м туре у меня были белые против Геллера, у которого было только пятьдесят процентов возможных очков. Нельзя забывать и о том, что я только три года тому назад покинул СССР и просто не существовал там, будучи распылен, выражаясь оруэлловским языком. Партия та поэтому, помимо спортивной, имела для Геллера и иную подоплеку. Он подавил меня совершенно во время игры, пронзая яростными пронзительными взорами и оглушительно стуча по часам. Записывая ход, он с грохотом ставил пешку на бланк партии, добавляя к ней ферзя или ладью. Но сразу же после того, как я сдался, он превратился в само добродушие: «Может, вам лучше было пешкой бить на e5?»

Частично, думаю, дело здесь было в том, что сам он никогда не ходил ни в вундеркиндах, ни в обласканных, многообещающих и, как ему казалось, получающих многое готовым и не по заслугам. Что-то было здесь и от боцмана или дядьки, жестко учащего молодых уму-разуму. Но главное все же было в другом, и лучше всего это сформулировал он сам. На чемпионате СССР в Вильнюсе в 80-м году Геллер играл очень тяжело. Сильнейшие цейтноты почти в каждой партии, грубые просмотры, давление, подходящее к предельной черте. «Может, лучше выбыть, Ефим Петрович?» – осторожно советовали ему. «Выбыть? Как это выбыть? А стипендия? А международные турниры? А место в команде? Вам легко сказать “выбыть”».

Конечно, в любом виде спорта, особенно профессиональном, разница между выигрышем и проигрышем ощутима. Но нигде она не была такой гигантской, как в Советском Союзе. Шахматы находились в привилегированном положении по сравнению с другими видами спорта, и приличный результат на турнире на Западе означал попросту несколько годовых зарплат. Поэтому от полуочка нередко зависела не только вся твоя дальнейшая карьера, но и напрямую благополучие твоей семьи. Многие, впервые выезжавшие на турнир за границу, знали: другого такого шанса не будет. Огромная ответственность и нервное напряжение могли привести к самым неожиданным последствиям. Так, Иво Ней, не будучи даже гроссмейстером, на турнире в Вейк-ан-Зее в 1964 году поделил первое место с Паулем Кересом, опередив Портиша, Ивкова, Ларсена и многих других известных гроссмейстеров. С другой стороны, выступление Игоря Платонова в том же Вейк-ан-Зее шестью годами позже закончилось полным провалом: «минус четыре» и одно из последних мест.

Но даже прославленные гроссмейстеры, находившиеся на самом верху гигантской шахматной пирамиды в СССР, не могли поручиться за свое будущее. Шахматная карьера могла прерваться на неопределенное время в любой момент, а иногда и вообще разрушиться. Думаю, что этим в первую очередь, а не только разницей в характерах и менталитетах, объяснялись нередко колючие, настороженные, а зачастую и откровенно враждебные отношения, всегда сопутствовавшие верхушке советских шахмат. С походами в Спорткомитет, письмами в партийные и прочие инстанции, расположением или недоброжелательством всемогущих партийных функционеров, от которых часто зависела твоя судьба и имена которых давно канули в Лету.

Борис Спасский: «Играя с Фишером, особенно когда тот был совсем молод, Геллер всем своим видом и мимикой показывал: «Ну, что ты, дерьмо, претендуешь на то, чтобы быть гением?» Отношение, которое Фишер несомненно чувствовал. Помню, еще на сборе команды России перед одной из Спартакиад смотрели мы вариант Свешникова. Показывал сам Свешников. Нужно было посмотреть тогда на Геллера! Он презрительно поджимал губы, закатывал глаза, глубоко вздыхал, говоря, что такие позиции играть нельзя, что в позиции черных одни сплошные дыры, совершенно не замечая козырей черных. Надо отдать должное Свеш-

никову – другой бы вскипел, а он вел себя безукоризненно. Нет, Геллер не был добряком, он скорее работал под добряка. Но он очень помог мне во время матча с Петросяном в 1969 году, и в матче с Фишером был он фактически единственным, кто мне действительно помог. Ни Ней, ни Крогиус, ни приехавший уже в самом конце Болеславский, анализировавший так и не встретившись в матче дебюты, не помогли мне, а он действительно работал, переживал... Хотя практически все, кого он тренировал, проигрывали. Была здесь, думаю, и зависть – почему он, а не я? Ну, и упрямство, зачастую недоброе. Чувства эти превалировали иногда над его замечательными шахматными качествами. Нет, не думаю, чтобы он интриговал, но то, что с большой подковыркой был – точно. Был он добродушен, но не сусален, такой внешне добродушный одессит, хотя, конечно, был оппортунист, делал все, что ему выгодно было; когда стало выгодно – ушел к Карпову... Помню еще, что во времена своего чемпионства воспользовался одним его советом, хотя никого не слушал и всегда предпочитал идти своим путем. А сказал он мне: “Борис Васильевич, вы чемпион мира, вы стоите на вершине, не вмешивайтесь в дела претендентов, в их распри, их проблемы, не ваше это дело, не дело чемпиона”, – послушался его. Храню о нем хорошие воспоминания...»

Последние шахматные годы Геллера дались ему тяжело. Хотя сам он на пороге своего пятидесятилетия писал, что «не следует закрывать глаза на то, что все мы рано или поздно проигрываем партию суровому и непобедимому сопернику – времени», всегда хочется верить, что это относится к кому-то, к другим, не к тебе. «Какие тут секреты – работать с годами надо больше – вот и все», – сказал он после выигрыша чемпионата страны в 54 года. Но уже вскоре осознал, что никакой анализ и никакая работа не могут компенсировать легкости, огромного желания и волевого напора молодости. Привыкший все анализировать и во всем докапываться до истины, он сам поставил диагноз шахматисту в пору старения: «Более всего снижается стабильность расчета многочисленных мелких вариантов, составляющих ткань обычной, то есть на привычном жаргоне – «позиционной» игры. Повышается опасность просчетов, которые проходят, как правило, за кадром, так и не реализуясь в форме состоявшихся зевков. С рокового пути в последний момент удастся свернуть лишь ценой большего или мень-

шего ухудшения позиции. А со стороны это выглядит едва ли не как непонимание. В результате жертвой старения зачастую становится так называемая техника, что может показаться странным человеку, воспитанному на журнально-книжных стереотипах».

Тем не менее, он все равно оставался самим собой – бескомпромиссным, отстаивающим свою шахматную правоту. Если Геллеру казалось, что нарушаются законы шахмат, что что-то делается не по правилам, он снова погружался в длительные раздумья, считая своим долгом наказать, опровергнуть, доказать... «Тот, у кого уже не хватает храбрости для осуществления своих замыслов, теряет способность борца и приближается к закату», – писал Ласкер. У Геллера до конца хватало храбрости для осуществления своих замыслов, у него не хватало сил. Он проиграл всухую оба матча на турнире в Тилбурге Чандлеру в 1992-м и ван Вели год спустя, но ни в одной из этих партий не поступился своими принципами, преждевременно сняв напряжение или нивелировав позицию. «Ну, совсем не тяну», – говорил он с виноватой улыбкой после проигрыша одной из них, наиболее обидной. Помню еще, как в конце 1987 года спросил его, вернувшегося из Индии, где он проиграл белыми семнадцатилетнему подростку, затратившему на всю партию где-то около получаса: «Ну что, Ефим Петрович, мальчонке проиграли?» – стараясь попасть ему в тон. «Мальчонке? – посмотрел на меня с неодобрением. – Да я, может быть, будущему чемпиону мира проиграл...»

Не думаю, чтобы Геллеру, даже его лучших лет, было бы уютно в современных шахматах. Дело здесь даже не в блиц и всякого рода скоростных турнирах, поклонником которых он никогда не был. «Из меня блицор еще тот», – говорил он после того, как не набрал и пятидесяти процентов очков в блицтурнире в Амстердаме в 1975-м. Думаю также, что и новый контроль времени, еще более карающий длительные раздумья, и исчезновение отложенных партий, и новые компьютерные методы подготовки – все это нивелировало бы его природные качества, шло бы вразрез с шахматами, в которых он вырос и в которых добился выдающихся успехов. Но очень многое, что в шахматах сегодняшнего дня кажется очевидным и само собой разумеющимся, основано на тех позициях и принципах, которые выработали лучшие игроки и аналитики 50-х, 60-х и 70-х годов. Одним из наиболее значительных из них был Ефим Геллер.

Он родился и вырос в еврейской семье в Одессе, хотя к еврейству своему никак не относился. «Это к нему относились из-за его еврейства», – по словам его вдовы Оксаны – фраза, понятная каждому, кто вырос в Советском Союзе. Не думаю, впрочем, чтобы его еврейство было для него причиной каких-то конкретных проблем. Он не был евреем со скрипочкой или рафинированным интеллигентом, скорее наоборот – евреем-мастеровым, не такой уж редкий тип на Украине или в России. Образом жизни и привычками он полностью вписывался в среду и страну, где он жил, только мастерством его были шахматы.

Он прожил в СССР фактически всю жизнь, до того момента, когда страна эта просто перестала существовать. Нет ничего удивительного поэтому, что он очень во многом оставался советским человеком. Но членом партии никогда не был, хотя в единственной книге его, вышедшей на Западе, не считая, разумеется, большого числа теоретических публикаций, выше допустимой меры повествуется о преимуществах социалистической системы и осуждается Фишер как типичный представитель системы загнивающего капитализма. В 1972 году в Рейкьявике он, будучи секундантом Спасского, уже в самом конце безнадежно проигрываемого матча Фишеру потребовал официальной проверки турнирного зала на предмет обнаружения секретной электронной аппаратуры или лучей, влияющих на мыслительный процесс Спасского. Батуринский, один из самых влиятельных шахматных функционеров Советского Союза, вспоминает: «Это была личная инициатива Геллера, Москва на этот счет не давала никаких распоряжений...»

Сейчас над этим можно смеяться или иронизировать, но тогда Геллер просто не мог найти иных причин слабой игры Спасского. Это же вписывалось очень хорошо в представления, сложившиеся у него с детства, с «границей на замке», колорадским жуком, забрасываемым американцами на колхозные поля, происками империалистов всех мастей, требующими высокой бдительности и суровой отповеди. Он стоял на страже интересов империи, слугой и гордостью которой одновременно был он сам. В 1970 году на Матче века в Белграде жаловался журналистам, что победы представителей сборной мира встречаются значительно большими аплодисментами, чем советских гроссмейстеров. В статье в «64», написанной им после того, как мы поделили с ним пер-

вое место в Хооговен-турнире в 1977 году, моего имени вообще не было. Не думаю, впрочем, что его вычеркнули тогда в редакции журнала – самоцензуры у Геллера хватало...

В 80-м году в Лас-Пальмасе попросил подписать только что вышедшую его «Староиндийскую защиту». После долгих, мучительных раздумий Геллер написал: «С наилучшими пожеланиями» без обращения и подписи – на всякий случай, если кто увидит, – и, отводя глаза, протянул книгу мне. Но такие уж были тогда правила игры, а других он просто не знал. Когда в конце 80-х, в последние, уже конвульсивные годы Советского Союза обсуждался в Центральном клубе в Москве вопрос о вступлении советских шахматистов в Международную гроссмейстерскую ассоциацию, Геллер, как вспоминал позднее Псахис, был категорически против: «Не случайно главный офис этой организации находится в Брюсселе, ведь там расположена и главная квартира НАТО...» Обычно же бывал немногословен, поэтому в некрологах на Западе, отдавая должное его выдающимся шахматным достижениям, писали в то же время о совершенно неизвестном Геллере-человеке.

«Он не был златоуст, скорее он был косноязычен, – вспоминает Владимир Тукмаков, – но, будучи человеком неглупым, знал это сам и предпочитал помалкивать, особенно на людях или в малознакомых компаниях».

Марк Тайманов: «Он мог быть колючим, мог и обидеть даже на собрании команды, но были мы с ним как-то неделю вдвоем в поездке – открылся вдруг с другой стороны, теплой, душевной. И был, конечно, одессит, бесшабашное что-то в нем было, что-то и от биндюжника, и манеры имел соответственные...»

Анатолий Карпов: «Геллер был очень азартный, увлекающийся человек. Мне совсем недавно в Одессе говорили знавшие его еще в студенческие времена – играть мог на бильярде днями напролет. Ну, и карты любил, конечно, – белот. Был он одессит, все было в нем одесское, и говор был одесский. Так, как он говорил, говорят в Одессе, в Хайфе, на Брайтон-Бич...»

Последние тридцать лет из отпущенных ему семидесяти трех Геллер прожил в Москве, но Одесса всегда оставалась для него домом, он ведь родом из одесского двора, где все знали друг друга и знали все друг о друге. Гроссмейстеры Альбурт и Тукмаков,

шахматное детство которых пришлось на конец 50-х годов, вспоминают, что он был любимцем Одессы, в Одессе он был свой. Он был простой человек, не интеллектуал и не философ, он любил поесть, не обращая внимания на калории и холестерин, любил посидеть в компании, выпить с друзьями. В чем-то сошедший со страниц бабелевских рассказов, он любил играть в карты, в домино, на бильярде. И во всем этом тоже была его популярность в Одессе, Фимы Геллера из Одессы. В старости он, как и многие, стал походить на карикатуру на самого себя: черты лица стали еще более крупными, склонность к полноте перешла границу допустимой и значительных размеров живот при его небольшом росте был еще более заметен; он тяжело дышал, не расставаясь, впрочем, с неизменной сигаретой. И его внешний вид, и его манеры резко контрастировали с его очень чистым академическим стилем игры.

За свою шахматную жизнь Геллер десятки раз бывал за границей. «Там он расслаблялся, – вспоминает Спасский. – Это заключалось для него в следующем: он закуривал свой «Честерфилд», выпивал кока-колу и был вне времени и пространства».

Самые последние годы не были легкими: дело было не только в пошатнувшемся здоровье; как и для многих из его поколения, пошатнулись все устои его мировосприятия. Одно время семья подумывала о переезде в Америку. Не уверен, чтобы он, особенно в последние, болезненные годы чувствовал там себя дома, ведь старые деревья вообще трудно поддаются пересадке. А так, почему бы и нет, не будь дан ему огромный шахматный талант, сделавший его тем, кем он стал, хорошо вижу его «забывающим козла» на залитой солнцем набережной Брайтон-Бича в Бруклине, за столиком в ресторане «Одесса» или читающим на скамеечке «Новое Русское Слово».

Ребенком он жил на Пушкинской, тянувшейся к вокзалу, потом на Приморском. Малая Арнаутская, Греческая, Еврейская и Дерibasовская – улицы Одессы, прямые, как стрела, исхожены его юностью и молодостью, и он часто возвращался на них, в последний раз за три года до смерти, на свое семидесятилетие. В город, по выражению Бабея, в течение десятилетий поставлявший вундеркиндов на все концертные эстрады мира. Здесь начинали Буся Гольдштейн и Яков Флиер, из Одессы вышли Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс. Выдающийся гроссмейстер Ефим Петрович Геллер был ее шахматным королем.

Славе, как известно, есть лишь одна цена – положить к ногам тех, кого любишь. В его случае это была семья – жена Оксана, единственный сын Саша, которого он очень любил, – по словам тех, кто знал семью близко, – порой и чересчур. С ним, довольно сильным шахматистом, Геллер и сыграл две свои последние партии, дав сыну в обеих белые фигуры... Все эти годы жил на даче в Переделкино под Москвой, долго и тяжело болел. Часто сидел молча, улыбаясь иногда детской, беззащитной улыбкой: происходила постепенная усадка души.

Зима в тот год выдалась ранняя, морозная. Таким был и день похорон Геллера 20 ноября 1998 года. Могила его совсем рядом с домом, где он жил, кладбище минутах в пятнадцати ходьбы. В последнем слове Давид Бронштейн, знавший Геллера полвека, говорил, что всю свою жизнь Геллер был занят поисками истины. Но что есть истина в шахматах? Она неуловима и иллюзорна, но он все равно днем и ночью был занят ее поисками.

Ефим Геллер был одним из самых ярких представителей уходящего уже поколения, которое становится шахматной историей. Недалеко то время, когда историей станут и сами шахматы, те, во всяком случае, в которые играли они...

Декабрь 1998

Я ЗНАЛ КАПАБЛАНКУ...

В 1989 году в испанской Мурсии я разговорился с одним молодым шахматистом из тогдашнего Советского Союза. «Вы видели Левенфиша? – с удивлением спросил он меня. – А Шифферса вы тоже видели?» Он спросил это так искренне, что я до сих пор не уверен, не шутил ли он, ведь у молодости свое представление о времени, определяемое емким словом – давно. Подумав несколько, я отвечал, что Шифферса, который умер в 1904 году, я не знал. Я не знал и Капабланку, он умер за год до моего рождения, но каким-то образом видел его вблизи, его привычки, манеру говорить и одеваться, играть в бридж или молчать.

В 1984 году, 6 мая в Нью-Йорке я в первый раз встретился с вдовой Капабланки Ольгой Кларк. Сейчас, просматривая записи тех лет, слушая ее голос, оставшийся на магнитофонных лентах, перемещаясь в ушедшие времена, я вижу людей, которых уже давно нет, и в первую очередь самого Капабланку. По мере того как я все глубже окунался в атмосферу того времени и в его жизнь, мне все чаще приходила в голову мысль, похожая на сформулированную Рейганом на одном из съездов республиканской партии: «Демократы часто любят цитировать Джефферсона. Я знал Джефферсона...».

Я познакомился с Ольгой в Манхэттенском шахматном клубе, который размещался тогда на десятом этаже Карнеги-холла. В тот день она передавала в дар клубу, что делала уже не раз, что-то из личных вещей Капабланки. Я увидел очень пожилую женщину, по-американски неопределенного возраста, с уложенными волосами, сильными следами косметики на лице и сверкающими перстнями на тронутых старческой пигментацией пальцах. Нас представили, и я назвал себя. «Простите, как вы сказали? – переспросила она – Зноско? Зноско?..» – Я снова повторил свое имя. «Простите, – сказала она, улыбаясь. – Никогда не слышала. Но знали ли вы Зноско-Боровского? Он был другом Капабланки, мы встречались с ним часто в Париже».

После первых фраз знакомства мы перешли с ней на русский и всегда потом говорили на этом языке. Она была русской по рож-

дению и владела языком достаточно хорошо, выпустив даже сборник стихов, очень слабых, впрочем. Изредка она вставляла в свою речь французские пословицы и словечки, реже англицизмы, хотя ее речь была свободна от appointment'ов и experience'ов, так часто встречающихся в языке русских американцев последней эмиграции. Иногда она откровенно спрашивала: «Как это сказать по-русски?» Кларк – было имя ее последнего мужа; она легко согласилась на встречу и ужин вечером следующего дня в «Russian Tea Room».

Ровно в четыре я стоял у дверей огромного дома на углу 68-й и Парк-авеню – в очень престижном районе Манхэттена. «Вы к кому? – спросил меня портье в ливрее. – Ах, к госпоже Кларк? Билл, проводи, пожалуйста, джентльмена на седьмой этаж».

Она стояла уже у распахнутой двери: «Проходите, пожалуйста. Простите, у вас очень трудная фамилия, я не запомнила». Через некоторое время мы стали называть друг друга по имени. Имея альтернативы: госпожа Кларк, что как-то не вязалось с темой нашего разговора, мадам, по какой-то причине не выговариваемое мною, госпожа Капабланка-Кларк, звучавшее несколько тяжеломерно, совсем русское Ольга Евгеньевна, – я остановился с ее позволения на Ольге, вспомнив совсем юного Ван дер Виля, называвшего 75-летнего Эйве просто Максом и пояснившего тогда удивленному мне: «Да ему же только приятно, а то все “господин Эйве”, да “господин Эйве”...»

Мы расположились в гостиной, окна которой были приоткрыты, и слышны были звуки машин, доносившиеся с Парк-Авеню и сохранившиеся у меня на магнитофонной ленте. «Что мы будем пить?» – спросила она. Рядом с диваном стояла тележка с напитками, но, увидев мой блуждающий взгляд, предложила сама: «Может быть, шампанского? Давайте кликнем Билла, он нам откроет...».

«Ну, что же вы хотели спросить меня о Капабланке? Да, вы можете записать это на магнитофон».

В наших беседах она называла его всегда Капабланкой или Капой, и никогда Рауль или Хосе – обращения, нередко встречавшиеся в письмах к нему и увиденные мною позже в его архиве, который она завещала Манхэттенскому шахматному клубу. Не считая, конечно, многих очень личных, например, по-испански – «Mi querido Capablanca» или сугубо официальных, перечисляю-

щих все титулы, до мягкого – «My dear Capablanca» – всегдашнего обращения Эйве.

Я не решился спросить о ее возрасте, хотя было очевидно, что она уже давно вступила в тот, когда годами скорее гордятся, чем скрывают их. Считалось, что она родилась в 1900 году. Только после смерти я узнал точную дату ее рождения. Ольга Евгеньевна Чубарова родилась на Кавказе 23 сентября 1898 года; к моменту нашей встречи ей было неполных восемьдесят шесть лет.

«...Фамилия моего первого мужа была Чагодаев, он был офицером в белой армии, кавалеристом... Вообще, я была замужем четыре раза. Моим последним мужем был адмирал Кларк, его фамилию я ношу сейчас – это был замечательный человек. До него я была замужем за человеком много моложе меня, он был олимпийским чемпионом по rowing – как это сказать по-русски – гребле? Фактически все, что у меня сейчас есть, – это от него, но я не хотела бы говорить на эту тему». Она иногда употребляла в разговоре эту формулу, и я, разумеется, никогда не настаивал.

«...Ну и, конечно, Капабланка. Что ж вам рассказать о нем? Когда мы с ним познакомились? Это было ровно 50 лет тому назад, здесь, в Нью-Йорке, весной 1934 года. Я помню, была какая-то party в доме кубинского консула, я была нездорова и плохо выглядела, но моя сестра просто вытащила меня туда. Ах, вы знаете, Нью-Йорк был тогда другой, веселый и вообще... Вы, вероятно, не знаете, что это я, а не Марлен Дитрих, ввела в моду тогда черную вуальку, впрочем, какое это все сейчас имеет значение?» Она вздохнула: «Вы видите – это я». С противоположной стены на меня смотрела ослепительная красавица – блондинка с карими глазами. «Ну, конечно я вас сразу узнал».

«Ах, душа», – ее узловатая рука коснулась моей. Она и впоследствии иногда называла меня этим труднопереводимым русским словом, блески которого можно встретить в английском *darling*. «Так вот, на этой самой party я и познакомилась с Капабланкой. Какой он был? Вы понимаете, он был король. И во всем он держал себя как король. Когда до начала одного симультана кто-то попросил показать Капабланку, ему сказали: «Когда все войдут в зал, вы сами увидите, кто – Капабланка». Помню, как я в первый раз приехала в Европу и была с Капабланкой на дипломатическом приеме. Как дипломат он должен был быть представлен бельгийскому королю. Министр рассказывал мне потом, что, когда

король услышал имя Капабланки, он, как мальчишка, подбежал к Капе, что было супротив всякого протокола, и наговорил ему кучу комплиментов: «Я знаю ваши партии, и вот теперь – какая честь – вижу вас лично». Его любили все, и у него были хорошие отношения со всеми, кроме, конечно, Алехина.

В первый раз я увидела Алехина где-то под Карлсбадом, думаю, это был тридцать шестой год. Помню, было лето, была какая-то party в саду, я разговаривала со Штальбергом, с которым меня Капа только что познакомил. Через несколько минут к нам подошел какой-то белобрысый господин, похожий на продавца в магазине. Это был Алехин. Был ли он симпатичный? Напротив, он был какой-то кислый; я его сразу узнала по фотографиям – заклятого врага Капабланки, и так и застыла на месте. Он сразу представился: «Я – Алехин. Вы должны нас извинить, – сказал он Штальбергу, – мне нужно сказать мадам что-то приватно». Алехин провел меня в конец сада, – я как сейчас вижу томатные грядки, вдоль которых мы ходили, и начал говорить очень решительно. Он говорил, что Капабланка может думать о нем что угодно, но в обществе они должны здороваться, что Капабланка ему даже не поклонился и т.д. «По-видимому, – отвечала я, – у Капабланки есть для этого сильные резоны». – «Может быть, – говорил Алехин, – но ведь весь мир понимает, что, хотя я и проиграл матч Эйве, и он сейчас официально чемпион мира, я и Капабланка являемся сильнейшими игроками». – «Капабланка и вы, – сказала я, – и вы это знаете, потому и не даете реванша Капабланке». Он странно посмотрел на меня и продолжал: «Я не был вполне здоров во время матча с Эйве, но я могу вас уверить, что...». Я снова перебила его: «Так же, как не был здоров Капабланка, когда отдал вам титул тогда, в 27-м году, в Буэнос-Айресе». – «C'est impossible de parler avec vous. Vous etes une tigresse», – сказал Алехин, и больше мы никогда с ним не разговаривали. Да, по-французски. По-французски и по-русски. Мы переходили с одного языка на другой и бегали вдоль грядок, покрикивая друг на друга.

«Знаешь, – сказала я Капабланке, – Алехин только что назвал меня tigresse», – и пересказала ему весь разговор. «Ах, ты моя tigresse», – сказал он и поцеловал мне руку. Потом я ему еще раз все это рассказала – он не хотел упустить ни одной детали. В тот день, когда я приехала в Ноттингем, Капа выиграл у Алехина и был счастлив. Там же он спросил, какое впечатление производит

на меня Алехин. «Мне кажется, – сказала я, – если его ущипнуть, он завизжал бы, в то время, как другой мужчина – зарычал». – «Ты и в самом деле маленькая *tigresse*», – сказал он. Там же, в Нотиннгеме, Капа сказал мне: «I hate Alekhin».

Мы говорили почти всегда по-французски, только ругались по-английски, а ругались мы нередко, потому что я всегда опаздывала. Капа замечательно говорил и по-французски, и по-английски. Говорил ли он по-русски? Он знал несколько слов, но их я вам не скажу. Улыбка появилась на ее лице, но, даже получше вглядываясь, непросто было признать в ней красавицу с льняными волосами, по-прежнему с обворожительной улыбкой смотревшую на нас. В этот момент в гостиную вошел человек на вид где-то под шестьдесят. «Познакомьтесь, – сказала Ольга, – это мой друг...». Мы представились и сказали несколько приличествующих моменту слов. Он спросил, как долго я пробуду в Нью-Йорке; мы выпили вдвоем шампанского. Через несколько минут он просил его извинить и поднялся. «Барон – очень приличный человек, хотя и немецкого происхождения», – сказала Ольга, снова переходя на русский, когда он ушел.

«Ну, что же вам еще рассказать о Капабланке? Как-то в Париже в отеле «Regina» нас пришел навестить Тартаковер; я была больна и лежала в постели. Тартаковер был очень симпатичный, и Капа с ним очень считался. И вот они сидели у моей постели, и Тартаковер вдруг сказал: «А что, если нам сыграть в шахматы?» Здесь я должна сказать, что Капа никогда не играл в шахматы *private* – как это сказать по-русски? Дома? Так, во всяком случае было при мне, но не думаю, чтобы он и в молодости когда-либо играл *private*. Но тут Капа согласился, и он записал эту игру – он ее выиграл, потом сложил бумагу, подал мне и сказал: «Вот это тебе, когда-нибудь это будет красивый бриллиант». – «Это как же?» – спросила я. – «А вот как. С тех пор, как я был ребенком, мое малейшее движение было записано, представлено, рекламировано, а вот этой игры никто не видел». Я об этом и забыла, а вот недавно искала что-нибудь для музея Капабланки в Манхэттенском клубе и вот нашла ее. Но я им другое подарила, а ее оставила. Я хочу теперь ее продать. О какой сумме? Я думаю 10 000 долларов. Я вижу тут большие деньги платят за рукописи, манускрипты, а это ведь редчайшая вещь. Как новая симфония Моцар-

та. Как вы думаете? По части архива Капабланки меня очень просили из Кубы, но я им даже не отвечала...

Нет, Нимцовича и Рубинштейна не знала, они были до меня, Ласкера помню очень хорошо, он держал себя с достоинством старого льва. Ботвинник и его жена держались скромно и несколько особняком, Капа относился к ним хорошо и предсказал, что когда-нибудь Ботвинник станет чемпионом мира... Да, конечно, и Эйве помню очень хорошо, он был безупречный джентльмен, но был он весь какой-то бесцветный.

Савелий Тартаковер был нашим приятелем. Да, я говорила с ним по-русски, но, когда мы бывали втроем, конечно, по-французски. Внешне он не был привлекателен: утиный нос, круглое лицо, лысый, но бездна обаяния, искренности, щедрости... Но более всего Капа был расположен к англичанам: он был англофил. Доктор Тейлор, который почти ничего не видел, но обладал удивительным остроумием и безупречными манерами, Александер – молодой, красивый, восторженный – помню их очень хорошо, но более всего Капабланка был расположен к сэру Томасу. Можно сказать, что они были друзья, хотя это была очень специфическая дружба. Они сидели и молчали, лишь изредка обмениваясь какими-нибудь замечаниями. Меня это удивляло, но оба собеседника были, по-видимому, очень довольны друг другом.

Сэр Джордж Томас вообще мало говорил с кем-нибудь, кроме Капабланки. Он был очень хорошо воспитан, и говорил с медленным достоинством. Вообще, по своему поведению и манерам Капабланка относился к английскому высшему классу. И что характерно, к славе своей относился совершенно равнодушно, я находила позже в его бумагах приглашения из очень престижных английских домов, очень престижных. Вообще же он был интроверт, но иногда ему нравилось, чтобы вокруг него были люди, но только иногда. По натуре он был малоразговорчив, и у него дома в Гаване говорили, что молодой Рауль думает, что у него золото во рту, которое он боится растратить. Но когда он взрывался, это был ураган, правда, он отходил довольно быстро; тогда он говорил: «Тебе должно быть трудно с человеком такого характера, как у меня, но таков уж я».

Самый большой комплимент я получила от него, когда он сказал мне как-то: «Знаешь, мне так все надоело, я от всего так устал, что я должен уехать куда-нибудь немедленно в горы, чтобы вок-

руг никого не было». Я ответила: «Сейчас приготовлю тебе чемодан», – и быстро уложила вещи. Он спросил: «А твой же где?» – «Но ты же хотел сам уехать». – «Нет, Кикирики, ты ведь тоже часть меня. Я имел в виду, чтобы были только ты и я». Он называл меня так иногда – Кикирики – этим смешным прозвищем, взятым из французской песенки; так называла меня в детстве моя гувернантка еще в Тифлисе. Я ведь правнучка Евдокимова, знаменитого завоевателя Кавказа, покорителя Шамиля; у нас в роду все по мужской линии были военные. Капа мог проводить часы над книгами по военной стратегии. Но все же его любимым чтением, помимо детективов, были исторические и философские книги; он вообще не читал fiction – как это сказать по-русски? И перед партией чаще всего читал, нет, никогда не спал... Нет, что вы, вы меня совсем не утомили. Может быть, еще бутылочку? Давайте, я позвоню Биллу...».

Мы вышли в коридор; на стене, прямо напротив гостиной, висела картина, на которой были изображены люди в морской форме. «Это мой последний муж – адмирал Кларк, – сказала Ольга, показывая на одного из них, – он был герой войны и друг Макарура. Вы ведь слышали имя адмирала Кларка?» Я сделал жест, который можно было истолковать по-разному; более всего он подходил под библейское: «Ты сказал».

«Давайте я вам еще кое-что покажу». Мы прошли довольно значительное расстояние по коридору и остановились у открытой двери. В глубине комнаты сидел очень большой человек, что-то ел и читал газету. Я инстинктивно сделал шаг назад. «Можете говорить громко, он все равно ничего не слышит. Это – Фиш, конгрессмен Гамильтон Фиш, ему 96 лет, он назван в честь Александра Гамильтона – вот его дед сидит на коленях у Джорджа Вашингтона». Она показала на картину, висящую на стене, в центре которой на коленях у человека с лицом, знакомым по изображениям на долларовой купюре, сидел маленький мальчик. Я незаметно оперся рукой о косяк: шампанское в комбинации с живым экскурсом в историю Соединенных Штатов давало о себе знать. «Знаете, он ужасный скупердяй, хотя его род один из самых древних и богатых в Америке, древнее Рокфеллеров и Карнеги. Он был очень силен, и в 1914 году был признан лучшим игроком в американский футбол». Человек не обращал на нас никакого вни-

мания, и перевернул страницу газеты. «Он женился на моей сестре, а я вышла замуж за адмирала Кларка, и мы купили этот апартамент. Фактически – это две квартиры, соединенные переходом. У него маленькая собачка, а у меня кошка. Вы знаете, Капа ведь любил котов, в последние годы у нас была замечательная кошка, с которой он часто играл». Невольно в памяти всплыл сиамский красавец Алехина по кличке Chess, но у меня хватило ума молчать, понимая неуместность такой ремарки. «Вот мы и живем с ним, как кошка с собакой», – вздохнула Ольга.

Я узнал потом, что конгрессмен Фиш был видной фигурой на политическом горизонте Америки на протяжении долгого времени, запомнившейся, помимо всего прочего, бурным конфликтом с президентом Рузвельтом. Ярый республиканец, он дожил до 101 года и еще за несколько дней до смерти произнес страстную речь против собственного внука, баллотировавшегося в Конгресс от демократической партии. За несколько лет до смерти он женился на женщине где-то за пятьдесят. Надо ли говорить, что этот факт никак не улучшил отношений Ольги с конгрессменом. За каждый прожитый совместно год жена его получала, по утверждению Ольги, миллион долларов. Его поступок был встречен без энтузиазма также и детьми конгрессмена, хотя, опять же по рассказам Ольги, состояние его никак не могло пострадать от такой безделицы.

Несколько минут спустя Билл открыл в гостиной новую бутылку шампанского. «*Santé!*», – сказал я. Она подняла свой бокал: «*Á la bonne vôtre!* Так на чем же мы остановились?» – «Он любил алкоголь?» – не совсем к месту спросил я. «Шампанское. Если же вино, то немного и непременно хорошее; только после знакомства с ним я стала разбираться в вине. Понимаете, он был гурман, ел он немного, когда приносили большие порции, он махал руками, но все обязательно должно было быть отличного качества. Случалось поэтому – он отправлял блюда обратно, но ему все прощалось, его все любили. Он и сам готовил иногда по своим кубинским рецептам, и это у него хорошо получалось, если, конечно, не подгорало. Апельсиновый сок я всегда выжимала для него сама – обязательно через полотняный платочек, чтобы, Боже упаси, ничего не попало в стакан, ведь он был очень капризный.

Он был щедрый и любил угощать друзей, мы ведь как жили: когда – густо, когда – пусто. Он и в одежде был такой – у него

было немного вещей, но все это было самого высокого качества. Он был всегда прекрасно одет, об этом даже английские газеты писали: самый элегантно одетый шахматист. Но одевался он, как это сказать по-русски, – *sobor*? Классически? Строго? Пожалуй. Такой был у него вкус. Он всегда заказывал костюмы у одного и того же портного на Savile Row на протяжении многих лет, а на Bond street покупал иногда. Галстуки были его слабостью, и он сам завязывал их очень тщательно. Один галстук, который я ему подарила, он особенно любил. Нет, суеверен не был, хотя надевал его на важные игры.

И так он был во всем, вы понимаете, он был перфекционист. Он прекрасно играл в теннис, его тренер говорил, что, если бы он серьезно играл, он мог бы быть одним из сильнейших. Машину он водил просто замечательно; он приехал за мной на машине на следующий вечер после того, как мы с ним познакомились. Очень любил играть на бильярде, я слышала, что, если бы он посвящал больше времени бильярду, он мог бы стать чемпионом. Когда он был молод и учился в Колумбийском университете, ему предлагали играть в главной бейсбольной лиге, но это было еще до меня. Ну и, конечно, бридж. Он играл великолепно, даже чемпионы спрашивали его совета. Я играла много слабее, примерно так, как Керес, а вот Вера Менчик играла очень хорошо, я помню ее, мы говорили по-русски. И еще – он был необычайно гордый, это было у него в крови. Я только один раз видела, как он распластался перед кем-то в комплиментах. Это был старый, плутоватый садовник в Гаване. Он продал нам несвежие цветы, и я очень сердилась и протестовала. И Капа так извинялся и кланялся перед ним, как я никогда еще не видела, да, старый, беззубый кубинский садовник...

Когда мы бывали на Кубе, мы всегда останавливались в одном и том же отеле, потому что хозяин его был другом Капы. Куба была тогда прелестная страна, веселая, часто бывали карнавалы, танцы, музыка, масса цветов, нищих не было вовсе.

Капа любил там бывать, но не слишком долго. Вообще, он был непоседа, он любил путешествовать – это было у него в крови. Лондон, конечно, был его город, он ведь больше всего любил Англию. Но и Париж, Париж... Помню, в Париже в 1937 году был прием в кубинском посольстве в честь Риббентропа. Он был очень шармантный мужчина и танцевал со мной весь вечер. В конце он

пригласил меня в Германию. «Я же – славянка, а славян вы ведь не очень любите, к тому же у вас уже есть Ольга Чехова», – сказала я. Он весь рассыпался в комплиментах, сказал, что, если бы фюрер меня увидел, он непременно бы влюбился, я была бы королевой Германии. «Зачем же мне быть королевой Германии, – отвечала я, – когда сейчас я королева мира?». Капа, который стоял рядом, весь просиял...

Да, конечно, Амстердам помню очень хорошо, там была еще гостиница на воде, да, да, «Амстел», помню еще чаек над водой. Но, вы знаете, Капе совсем не следовало играть в том турнире, он совершенно не был готов к нему, у него были приватные проблемы, с разводом, и главное – он был очень болен, очень. У него были огромные перепады давления, которое поднималось иногда ужасно высоко. Это было у них в семье, от этого и отец его умер, и сын недавно на Кубе. Во время партии с Ботвинником в конце турнира ему стало плохо, и он потом сказал мне, что в уборной он едва не потерял сознание. Его доктор Гомез очень не советовал ему играть в этом турнире, так как Капа должен был избегать всяческого волнения. Но я тогда и не могла предполагать, насколько это все серьезно. Почему он любил Россию? Потому, что там были очень хорошие игроки и еще потому, что там его просто обожали, на руках носили. Нет, сама не была, хотя Крыленко и разрешил, но мне посоветовали, намекнули, что лучше не ехать...

Если он видел несправедливость, говорил прямо в лицо, но вот в книге, вышедшей недавно на Кубе, сказано, что он боролся за права негров и все такое. Он всегда был за справедливость, но это его совсем не интересовало. Он сам сказал бы в этом случае: «Sacre». Как это по-русски? Воняет? Пожалуй, еще сильнее.

Музыку он обожал, Моцарта и Бетховена, особенно Баха; мы бывали на концертах, он любил и камерную музыку. Вы говорите, он был дружен с Прокофьевым? Быть может, мы встречались несколько раз в Париже, но я его не очень любила и, думаю, он меня тоже. Чем-то он напоминал мне Алехина. Вы верите в реинкарнацию?» – неожиданно спросила она. Я снова сделал жест, который можно было истолковать по-всякому. «Знаете, многие находили, что Капабланка был воплощением Морфи, они ведь похожи во многом: посадкой головы, всем обликом и оба были латинского происхождения, Капабланка родился через четыре

года после смерти Морфи... Ну, что вы, что вы, вы меня совсем не утомили». Бутылка была почти пуста, и наступил уже вечер. «Давайте вызовем такси, а я пока приведу себя в порядок», – сказала она.

Я ожидал в холле, и вдруг Ольга появилась в замечательном черном платье, так что я даже застеснялся своего амстердамского вида. «Я помню, в Ноттингеме, на закрытии турнира, у меня тоже было черное платье с такими оборочками, Капа даже не догадывался, что я купила его на распродаже. Он и о другом подчас не догадывался. Ведь он всегда передвигался на автомобиле, а я нередко и в метро ездила, когда и вторым классом... Душка, вы не поможете мне с этой цепочкой?»...

До ресторана было совсем недалеко, но, как это часто бывает в Манхэттене, такси двигалось очень медленно, иногда и совсем застывало в веренице таких же желтых машин. У дверей «Russian Tea Room» Ольга сказала: «Мы бывали здесь часто, почти каждый день, днем за ланчем, мы жили ведь почти напротив, в доме 157, здесь на 57-й. Нью-Йорк в конце стал его домом. И хотя мы путешествовали всегда в кабинах-люкс на кораблях и все такое, я сказала – знаешь, я хотела бы иметь свою квартиру в Нью-Йорке, пусть маленькую. И я сняла недорого, мы платили что-то около 100 долларов в месяц. Я сама и обставила ее, из того, что вы сейчас видели у меня, кое-что и оттуда еще. Я многое покупала тогда по случаю. Когда Капа вошел в нее в первый раз, он был просто изумлен, сразу позвонил приятелю и сказал – приходи немедленно посмотреть, какую квартиру Ольга приготовила для меня. Но жил он здесь, к сожалению, очень недолго. Отсюда он шел почти каждый день в Манхэттенский шахматный клуб играть в бридж. Так было и в последний день. Его привезли в больницу уже без сознания. Тот день я помню очень хорошо. Я стояла на углу улицы недалеко от больницы. Был вечер или ночь, я уже не помню, я видела звезду. Вдруг она исчезла. И я поняла, что его нет больше. Через несколько минут вышел доктор и сказал, что он только что умер».

Мы вошли в ресторан, и она сказала: «Здесь все перестроено, но обычно мы сидели в том углу». Официант подал меню. Много лет жившему в Амстердаме напротив ресторана «Вишневый сад» с блюдами типа «севрюга на вертеле, как ее любил кушать Антон

Павлович Чехов», меня здесь трудно было чем-либо удивить. Настоящую русскую еду тогда можно было найти только в рестораниках на Брайтон-Бич в Бруклине, но для Ольги Нью-Йорк ограничивался, разумеется, только Манхэттенем. Русские, которых она встретила бы на Брайтоне, вряд ли вписались бы в ее воображаемую Россию, тем более в Россию, которую она покинула почти 70 лет тому назад.

«Вы знаете, – сказала она, – я ведь России фактически и не знала, я ведь из Тифлиса, с Кавказа, а это была совсем другая Россия. Мы с Капой никогда не говорили на политические темы, но я слышала, что там сейчас по-другому относятся к таким, как я, к старым эмигрантам, понимают, что это были честные люди со своими принципами... Вы слышали эту песню о поручике Голицыне?»

«Вы говорите по-русски? – спросил я у официанта. – «Нет», – отвечал тот с виноватой улыбкой и спросил в свою очередь, хотим ли мы аперитив. Ольга колебалась некоторое время между «Пушкиным» и «Распутиным», остановившись в конце концов на «Павловой». Я взял «Дядю Ваню». «Очень верно», – одобрил наш выбор официант. По тому, как она изучала меню и обсуждала с официантом тонкости соусов, было видно, что к предстоящей процедуре она не относится легкомысленно; можно было представить себе красавицу-княгиню и элегантного кубинца в ресторане лайнера, пересекающего Атлантику: накрахмаленные салфетки, хрусталь, серебро... Мне было интересно наблюдать за ней, помня старое правило, что глаза лучшие свидетели, чем уши; чувствовалось, что ей приятно здесь, в полутьме ресторана, в привычной обстановке находиться рядом с молодым мужчиной, пусть тогда уже относительно молодым, но по сравнению с ней во всяком случае.

«Что-нибудь на десерт? – спросил официант, подкатывая тележку, – у нас сегодня замечательный черносмородиновый торт». «Попробуем?» – предложил я. «Ну, если уж вы настаиваете... Вы знаете, Капабланка обожал сладкое. Помню, перед витриной кондитерской, неподалеку отсюда, он долго смотрел на один торт и сказал: «Ты знаешь, Кикирики, мне кажется, что тебе хочется попробовать кусочек торта».

Нет, не курил, а я потихоньку покуривала, нет, не сигареты, папиросы... Нет-нет, спасибо, душка, я уже давно не курю. А почему вы улыбаетесь? Нет, если уж начали, то досказывайте все до конца...

Я колебался некоторое время, но, решив, что все это было до нее, и к тому же почти 60 лет тому назад, рассказал одну из известных в России историй, связанных с именем Капабланки. Он был тогда чемпионом мира, но короля, как известно, играет не король, а его приближенные. В России же, помимо приближенных, у него были преданные подданные и восторженные поклонники. Во время 1-го международного турнира в Москве в 1925 году ему приглянулась миловидная папиросница, и он пригласил ее поужинать к себе в номер гостиницы. «Никак не могу, – отвечала девушка, – день кончается, а еще почти ничего не продано». – «В таком случае я покупаю у вас все!» – «Как – все?» – «Весь лоток». На следующий день утром некурящий Капабланка позвонил портье гостиницы: «Заберите у меня эту утварь». Еще долгое время портье продавал по дорогой цене папиросы господина Капабланки...

«Ах, как мило, – улыбнулась Ольга, – я знаю, что у него, когда он был студентом в Нью-Йорке, было немало романов, но, как понимаю, ничего серьезного, но он не очень-то любил рассказывать о себе. Капа ведь был красавец: аристократические пальцы, которые он скрещивал, задумавшись, как это бывало во время симультанов, серо-зеленые глаза, замечательная улыбка, женщины прямо преследовали его...»

«Вы знаете, – сказала она, – если вы никуда не спешите, пойдем домой пешком – это ведь не так далеко». Я подал ей руку, официант следовал за нами до дверей и желал нам приятного вечера. На улице было уже темно, но вечер был еще теплый, и мы медленно дошли по 57-й до 5-й авеню. «Давайте здесь перейдем, мы с Капой всегда здесь переходили и шли по другой стороне». На углу 59-й и 5-й авеню у русского антикварного магазина «A la vieille Russie» она остановилась и, склонившись, стала рассматривать медальон с изображением последнего русского царя. Освещенное лицо ее вместе с березкой на картине, стоявшей внутри витрины, замечательно вписывалось в этот кусочек старой России в самом центре Нью-Йорка. Я вспомнил, что какая-то ветвь царской семьи жила в Америке: «Вы знали кого-нибудь из Романовых?» – «Да, но я их недолюбливала, впрочем, мне не хотелось бы говорить на эту тему».

Мы двинулись дальше и, свернув на 68-ю, также медленно дошли до Парк авеню. Надо было перейти на другую сторону. «Вы знаете, – сказала Ольга, – когда-то маленькой девочкой с двумя

серебряными рублями я бежала в Америку, чтобы бороться за права индейцев. Меня поймали тогда на вокзале – и вот, теперь я здесь... Ну, пойдемте, мы уже дома». Портье заметил нас издали и вышел из двери: «Добрый вечер, госпожа Кларк, добрый вечер, сэр. Какая чудная погода сегодня...».

Мы виделись с ней еще несколько раз во время моих последующих приездов: тогда я регулярно бывал в Нью-Йорке. Встречи эти начинались у нее дома, где мы распивали бутылочку-другую, до чего она была большая охотница. Может быть, я ошибаюсь, но ей приятно было со мной, приятны и эти визиты, и походы в «Russian Tea Room». И не потому, что это был я; она знала уже, разумеется, обо мне больше, чем мою непричастность к Зноско-Боровскому, хотя, честно говоря, и ненамного больше. Просто она привыкла и к постоянному вниманию, и к мужскому обществу, в котором находилась всю жизнь. И, конечно же, ей было приятно возвращаться воспоминаниями, подернутыми дымкой молодости, – через океанские лайнеры – в весенний Париж, чудный Лондон, к чайкам над рекой в Амстердаме, в ту безмятежную атмосферу Европы предвоенных лет.

Ольга принадлежала к немалой группе русских женщин, которые в 20-х, 30-х годах стали женами или подругами писателей и художников Запада, его творческой элиты. Как правило, аристократки, а иногда и авантюристки (в Ольге были черты, подходящие под оба эти определения), со знанием языков, они были полны внутренней энергией и высоким эмоциональным зарядом. От них пополняли свой творческий потенциал в разные периоды жизни Пабло Пикассо, Поль Элюар, Ромен Роллан, Сальвадор Дали, Герберт Уэллс, Луи Арагон, Фернан Леже, Анри Матисс, Аристид Майоль. Распад старой России, всегда стоявшей особняком и на расстоянии по отношению к Европе, не уменьшил загадочной притягательной силы ее; скорее наоборот – сквозь слухи о крови, экзекуциях и процессах вставали имена Эйзенштейна, Пастернака и Мейерхольда, Лисицкого и Малевича, и непросто было для западных интеллектуалов провести границу между одним и другим. Но Ольга была не только русской. Она принадлежала еще к той категории женщин-долгожительниц, которые встречаются в разные времена и в разных социальных формациях. Мировые войны, революции, смена стран, языков – все идет

своим чередом, но жизнь, жизнь продолжается в любом случае. Как правило, мужчины играют немаловажную роль в их жизни, нередко они переживают детей (если их имеют) и умирают не от болезни, которая просто не допускается организмом, а от старости, когда перестает функционировать все. Жизнь рассматривается ими как данная субстанция, и неправильно было бы лететь бабочкой на огонь, забывая обо всем. Это стало, если не было дано от рождения, стержнем поведения, самой натурой. Как бы ни повернулась судьба и что бы ни случилось – не забывать о самой главной и единственной – себе самой. И отпуская уходящие естественным путем желания и удовольствия, они прочно держались за остающиеся, потому что там – кто может знать, что будет там? Здесь же – жизнь. И, если верно то, что надо продолжать жить, хотя бы из любопытства, что бы ни случилось, – это о них. И, если есть немалый смысл в том, что большинство людей умирает просто от того, что не осмеливается жить дальше, то к ним это не относится. Они – осмеливались! Они – жили!

Несколько раз в наших разговорах всплывало имя Солженицына, жившего тогда в Америке. Было очевидно, что одна из приводимых им формулировок отчаявшихся людей, получивших 10 – 15 лет лагеря, – если сейчас не жить, а только потом, то и зачем вообще – ей совершенно чужда. Жить! Чего бы это ни стоило. Простой стих Мецената: *Dum vita superest, bene est** выгравирован на гербе женщин этого ордена.

Ольга Книппер-Чехова, игравшая в пьесах своего знаменитого мужа еще в начале века и умершая народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии в 91 год. Марлен Дитрих, умершая в Париже в том же возрасте. Лиля Брик – муза Маяковского, другая – Чехова – тоже Ольга, о которой вспоминала Ольга Кларк, – известная киноактриса Третьего рейха, блиставшая на приемах рядом с Гитлером и Герингом и находившаяся в тайной связи с Советами. Лени Рифеншталь, на исходе десятого десятка готовящаяся встретить новый век. Загадочная Гала Дьяконова, тоже достигшая преклонного возраста, без которой вряд ли Сальвадор Дали стал бы тем, кем он стал. Алма Малер, пережившая многое и многих, с ее насыщенной бурной жизнью, в которой встречаются имена одно ярче другого.

Впрочем, и Ольгино созвездие удалось. Первый муж ее – офи-

* Пока жизнь продолжается, все хорошо (лат.).

цер белой армии, кавалерист, впоследствии летчик, что в конце 20-х годов звучало значительно более экзотично, чем в наши дни. По словам Ольги, потомок Чингис-хана и сам князь, он оставил ей княжеский титул, второй - шахматный король, третий – обладатель золотой олимпийской медали, фактически тоже чемпион мира, четвертый – герой войны, адмирал, герой Америки. Но Ольга не довольствовалась этим; она писала свою биографию широкими мазками, начиная с прадедушки - Евдокимова - знаменитого покорителя Кавказа, о чем она говорила при каждом удобном случае. Факт этот проверить было так же сложно, как и далекие корни родства ее первого мужа с Чингис-ханом. Мне казалось, что фамилия покорителя Кавказа была не Евдокимов, а Ермолов, но сказать ей об этом я как-то не решался.

Русская княгиня – это вписывалось в любое сочетание – с олимпийским чемпионом, адмиралом, но наибольший эффект это производило в комбинации с шахматным королем. Шахматный король и русская княгиня – звучало замечательно на дипломатических приемах и на балах, которые Ольга называла «партиями». На приемах этих тогда можно было встретить кого угодно: бывших и настоящих королей, профессиональных дипломатов и синекурных, каким и являлся Капабланка, обладателей огромных состояний, непонятно каким образом нажитых, махараджу или чудом спасшуюся от расстрела якобы царскую дочь. Вся жизнь Ольги напоминала одну длинную партию с шампанским и цветами, и ей, конечно, так же, как, впрочем, и ему, было все равно, каких политических взглядов придерживаются Крыленко, Риббентроп или махараджа, приглашения от которого она позже находила в бумагах своего покойного мужа.

Ольга появилась на торжестве, посвященном 100-летию со дня рождения Капабланки в Манхэттенском шахматном клубе в платье с огромным декольте; ей самой уже было девяносто. Она не изменила своей привычке и опоздала на полчаса, но тот единственный, кто мог попенять ей за это, смотрел, улыбаясь, с огромной фотографии на стене шахматного клуба.

Иногда она пускалась в рассуждения о шахматах, о мыслях молодого Капабланки во время его первой поездки в Европу, о Сан-Себастьянском турнире, заставляя меня невольно вспомнить строки Гоголя из письма к любящей его матери: «Не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературе». Сама Ольга

не играла в шахматы. Но что с того. В конце концов жена Расина никогда не читала произведений своего мужа, так же, как и жена Гейне, которая знала по-немецки только одну фразу: *Guten Tag Herr, nehmen Sie, bitte, platz*, утверждая: «Говорят, Генрих – умный человек, и написал много чудных книг, и я должна верить этому на слово, хотя сама ничего не замечаю». Моего, признаться, нелепого вопроса, играли ли Капабланка и Тартаковер с часами, она просто не поняла, хотя через некоторое время говорила уже об оценке трудной отложенной позиции Капабланки с Боголюбовым из Ноттингемского турнира, напомнив полный изящного достоинства ответ жены другого чемпиона мира – Смыслова: «Я в шахматы не играю, но позицию понимаю». Я спрашивал ее о многом другом, помня, что тот, кто много спрашивает, получает много ответов. Но почти все ответы ее были похожи, как отшлифованные морские камушки, на уже слышанные, и разница заключалась лишь в том, что в ресторане она заказывала «Распутина», а я – «Пушкина». Было очевидно, что я не первый, кто спрашивал ее о Капабланке. Она создавала его образ, и я встречал потом кое-что из рассказанного мне, едва ли не слово в слово где-то еще. Впрочем, и известное – известно немногим, а Ольга знала, чего от нее ждут. С другой стороны, образ его создавать было нетрудно, оттого, что он во многом и был такой. Они были вместе восемь лет, но понимала ли она его так хорошо? Восемь? «Срок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек», – писала вдова Толстого после смерти мужа.

Хотя Ольга говорила о событиях более чем полувековой давности, я понимал, что даже из ретушированного прошлого непредвзятый слушатель всегда может выудить черты и черточки, вероятно, самого легендарного чемпиона за всю историю игры. Конечно, мне хотелось знать, какие шахматные книги были дома, как он анализировал, как готовился к партии, если готовился вообще. Ольга отвечала, что шахматы он не любил, что мне представляется неверным, что к партиям не готовился вовсе и что, по словам самого Капабланки, если бы шахматы не захватили его так в юности, он, вероятно, стал бы изучать медицину. Знакомый с тем, что он делал на шахматной доске, я снова мягко уводил ее от рассказов об играх, как она называла партии, ибо слово партия для нее означало нечто другое: вечерние туалеты, танцы, шампанское. Я старался направить ее в русло чеховской молитвы:

«Боже, не позволяй мне говорить о том, чего я не знаю», но даже когда Ольга снова начинала вспоминать вечный карнавал на Кубе или веселую беззаботную жизнь в Нью-Йорке в начале 30-х годов, в глубине души возникало смутное – «смотря для кого» – без сомнения следствие лекций по диалектическому материализму моей далекой юности.

Но не могу сказать, что мне было скучно с ней; она оживлялась после своего любимого шампанского и могла с воодушевлением рассказывать, какого цвета платье было на госпоже Эйве, о чем шел разговор с госпожой Флор в Ноттингеме, когда она встретила ее утром в парикмахерской в день закрытия турнира, или какие именно комплименты говорил ей министр иностранных дел Германии в Париже в кубинском посольстве. Здесь уж можно было поручиться, что память ее не подводит, она была молода и очень женственна в эти мгновения, улыбка играла на ее лице, и можно было представить себе, как потерял голову летом 1920 года в Константинополе бывший офицер-текинец, а четырнадцать лет спустя – немолодой уже и выдавший виды шахматный король. Но реальность жизни не должна была быть забыта, и вот через минуту она уже спрашивала, сколько могла бы стоять золотая медаль, полученная Капой на Олимпиаде в Буэнос-Айресе в 1939 году: Ольга любила окунаться в воспоминания, но не витать в облаках. Она твердо стояла ногами на земле – обязательное условие столь долгого пребывания на ней. И пусть воспоминания эти были не так глубоки, она говорила обо всем с таким удовольствием, что невольно закрадывалась мысль: может, так и надо жить?

И все же не эти скользящие по поверхности воспоминания и повторы, когда не раз сказанное уже само по себе становится фактом, были причиной того, что я не позвонил ей в мой очередной приезд в Нью-Йорк. Скорее, дело было в другом. Ольга говорила о Капабланке, как о совершенстве, а у совершенства есть один изъян – оно может наскучить. И если бы у меня спросили, что я, собственно говоря, против него имею, я бы ответил, как прославившийся афинский нищий: я ничего не имею против него, просто надоело постоянно слышать, что Капабланка – лучший бриджист, что Капабланка – лучший бильярдист.

Последний раз я слышал ее голос, позвонив ей прямо из аэропорта, улетаая обратно в Европу и говоря зыбкую очень правду о такой напряженной поездке и о том, что на следующий год...

Следующего года не получилось. Приехав в сентябре 95-го года на матч Каспарова с Анандом, я спросил о ней. «Как, ты не знаешь? – сказали мне. – Ольга умерла уже как с года полтора тому назад». Защемило сердце, как всегда бывает в таких случаях, хотя приучено уже было ко многим и не таким потерям. Знал ведь, сказало себе, что не обойдется, не образуется, и что придет когда-нибудь момент для такого известия. Ольга умерла 24 февраля 1994 года в Нью-Йорке в возрасте 95 лет.

Я узнал, что она завещала весь архив Капабланки Манхэттенскому шахматному клубу – его клубу. Стояла чудесная солнечная осень, и город, который никогда не спит, не спал особенно на 46-й West между 8-й и 9-й авеню, где помещалась Американская шахматная ассоциация, а теперь и Манхэттенский шахматный клуб. Там находился архив Капабланки. Я приходил туда часам к одиннадцати, с улицы доносился нескончаемый гул, а я погружался в совсем другой мир – Маршалла, Ледерера, Купчика, Эйве и, конечно, Алехина. Но все они, как и многие другие, были только частью – одни больше, другие меньше – его мира – El Morphy cubano, как его называли нередко кубинские газеты. В толстых папках (Capablanca Clippings), начиная с 1901 года, были аккуратно подобраны письма к нему, бланки его партий матча с Алехиным, налоговые декларации, вырезки из газет, нередко выцветшие, контракты, счета, отчеты от издателей его книг.

Телеграммы, телеграммы, в том числе от гордых родителей, поздравляющих с первым большим успехом - победой в матче с Маршаллом. Фотографии, записки, иногда очень личные. По-испански, английски, реже – по-французски, еще реже – по-немецки. Мне было интересно все; не будучи шахматным историком, я, как нередко и в жизни, не мог отличить главное от второстепенного. А вот и голландский: репортаж с АВРО-турнира, фотография, сделанная перед началом 9-го тура в Арнеме 19 ноября 1938 года; в этот день ему исполнилось пятьдесят лет. Как всегда элегантный, он стоит перед микрофоном, рядом – Ольга с букетом цветов. Через несколько часов он проиграет партию тому, чье существование отравляло ему жизнь на протяжении последнего десятилетия. Тут же ее пропуск на турнир – в первый раз в качестве официальной супруги: они сочетались браком 20 октября и через несколько дней отплыли в Европу. А вот и ее русская вес-

точка: чек на годовую подписку газеты «Новое русское слово», выписанный январем 1942 года за два месяца до его смерти с ее тогдашней подписью: Ольга Чагодаева-Капابلанка.

А вот и письма, телеграммы соболезнования, не так и много, вот – от вдовы Маршалла, вот – что-то по-русски, фактически ничего от шахматистов, с другой стороны – в Европе разгар войны.

На этих страницах писем, контрактов, документов были разлиты честолюбие и денежные расчеты, интимные просьбы и холодная ярость, бушевали страсти людей, которых уже не было, но которые жили, жили... Когда я поднимал голову, за окном по-прежнему шумел Нью-Йорк, часовая стрелка неумолимо приближалась к трем, и давно уже надо было возвращаться в реальный мир, к тем же и совсем другим шахматам, к другому матчу на первенство мира.

Апрель 1999

УЧИТЕЛЬ

Мне было двенадцать лет, когда я пришел в Ленинградский дворец пионеров. Помню, что желающих заниматься шахматами было очень много, и, чтобы выявить лучших, тренеры давали сеансы одновременной игры. Тогда я и увидел в первый раз Владимира Григорьевича Зака. Партия наша длилась недолго. После: 1.e4 e6 2.d4 я ответил: 2...Кс6. Зак спросил, сколько мне лет и известно ли мне, как следует играть в этом положении. Вместо ответа я жестом предложил ему продолжать игру. Отбор я, естественно, не прошел и только со следующего года начал регулярно заниматься шахматами во Дворце пионеров. Из того периода в памяти остался строгий очень человек с яркими, я бы сказал, ассирийскими чертами лица, долгим взором немигающих черных глаз и беспрестанной работой желваков, особенно во время анализа, когда он обдумывал позицию.

Шахматный клуб Дворца находился тогда в замечательном, орехового дерева, бывшем кабинете царя Александра Третьего в Аничковом дворце, с потолка свисала огромная сверкающая люстра: не случайно группы иностранных туристов всегда водили сюда. Несколько контрастировало с царской обстановкой большое панно: Ленин играет в шахматы на Капри, Горький наблюдает за игрой, солнечный апрельский день 1908 года.

Обычно один из тренеров – нередко это бывал и Зак – давал пояснения иностранцам: сколько детей в группах, как часто приходят и т. д. Он, впрочем, не особенно любил это: надо было отвлекаться от занятий, да и вопросы были всегда одни и те же. Дети при появлении гостей всегда вставали, не отрывая взгляда от позиции, переговаривались, самые маленькие сортировали отбитые у врага фигуры: ребенка ведь потеря ферзя или ладьи огорчает значительно больше, чем такое нематериальное понятие, как мат. Когда иностранцы уходили, Владимир Григорьевич или другие тренеры выговаривали наиболее шумливым, и занятия шли своим чередом до следующего визита.

Тяжелая дверь клуба открывалась ровно в четыре, все устремились к стендам, на которых висели турнирные таблицы, определялись пары для игры, расставлялись шахматы, играющие с

часами обращались к Владимиру Григорьевичу или к другим тренерам: «Переведите мне стрелки, пожалуйста». Для того чтобы установить правильное время, требовалось нехитрое приспособление, всегда отсутствующее на шахматных часах. Наиболее ловкие приводили стрелки часов в движение монетами, но это не всегда удавалось. У Владимира Григорьевича была своя фирменная утяжеленная «переводилка», он редко выпускал ее из рук, если же это случалось, выговаривал каждому, кто отдал ему инструмент невовремя. Контроль времени был тогда час и три четверти на 36 ходов, после чего партия откладывалась. На конверте записывалось положение фигур на доске и проставлялось время. Собранные в лодочку пальцы помогали сохранить тайну записанного хода, защищая его от любопытных взоров соперника во время процесса записи. После того как ход был записан, конверт помещался в специальную папку, дожидаясь дня доигрывания. Я прибегал иногда к спасительной формуле «отложена», отвечая на вопрос матери: «Как сыграл?», но по моему удрученному виду она, вероятно, догадывалась о горькой правде. Играть блиц дозволялось только раз в неделю, по воскресеньям. Изредка разрешение получалось и в будний день с обязательным обещанием не шуметь, которое, конечно, сплошь и рядом нарушалось. В этом случае виновным выговаривалось, а при рецидиве часы могли быть вообще отобраны.

Если партия заканчивалась, можно было попросить любого тренера, который в тот момент был свободен, посмотреть ее; как правило, это делал победитель. Из того времени помню, как однажды попросил Зака проанализировать только что выигранную партию. Когда мы подошли к критической позиции, я сказал: «У меня, конечно, здесь хуже, но соперник очень нервничал, тогда я загнал себя еще и в цейтнот, он стал играть на время и ошибся». Владимир Григорьевич потемнел на глазах: «Это я тебя учил так играть? Позор! Что это за трюкачество такое?» Я не помню всех слов, которые он мне говорил тогда. Дети побаивались его, пожалуй, больше, чем других тренеров. «Это что у тебя такое? – строго спрашивал Владимир Григорьевич. – Листочек? А ты знаешь, что происходит с листочками? Где твоя теоретическая тетрадь? Чтобы это было в последний раз и чтобы потом все было переписано в тетрадку». В случае препирательств нерадивый ученик мог быть вообще отослан домой. Вспомнил об этом совсем недавно,

когда, перерыв все, так и не смог найти важный анализ защиты Грюнфельда, записанный в свое время на отдельном листе.

Но хорошо вижу его и с веселыми угольками в глазах отчитывающим мальчика: «Ты с кем из нас поздоровался, когда сказал Владимир Григорьевич?» Рядом с Заком стоял мастер Кириллов, которого тоже звали Владимир Григорьевич, и мальчик не знал, шутят ли с ним или говорят серьезно.

Став старше, я стал выезжать на соревнования в другие города. Помню, в Риге на всесоюзном юношеском первенстве в 59-м году провел с ним долгий вечер за анализом отложенной позиции. В темповом ладейном эндшпиле, где у меня была лишняя пешка, мы пришли к выводу, что следует обязательно начать с хода h4, предотвращая контригру соперника. Придя на доигрывание, я увидел, что пешка уже стоит на этом поле. Владимир Григорьевич посмотрел на позицию и, не удостоив меня даже взором, медленно удалился. Партию я не выиграл даже с пешкой на h4, боялся попадаться ему на глаза, но он, видя мои переживания, никогда потом не напоминал мне этого случая. Помню и поездку в Тбилиси в январе 1960 года на матч юношеских команд Грузии, Ленинграда и Москвы. Тогда это было целое путешествие: трое суток в поезде с пересадкой в Москве. В выходной день Владимир Григорьевич взял всю нашу команду с собой в гости к Вахтангу Карселадзе – знаменитому тренеру, положившему начало женским шахматам в Грузии. Мы пили чай и с удивлением наблюдали за Заком и Карселадзе. Они называли друг друга Володя и Вахтанг, вспоминали какие-то турниры и партии, и мы видели, что и турниры эти и партии – для них важнейшее, что есть в жизни. Было мне шестнадцать лет, я уже курил всюю, но, конечно, и в мыслях не было курить при Владимире Григорьевиче.

Иногда в клуб Дворца заходили его ученики, ставшие мастерами или гроссмейстерами, и наиболее известные из них – Виктор Корчной и Борис Спасский. Большие фотографии обоих висели прямо под портретами самых великих, дожидаясь своей очереди, чтобы продолжить верхний ряд, но дети узнавали их и так и смотрели на них, как на божеств.

Боре Спасскому было девять лет, когда он в первый раз увидел Зака. Он вспоминает: «Лето 46-го года было для меня очень светлым периодом в жизни; я тогда еще не поступил во Дворец, и тем

летом ходил в Центральный парк, на Острова... Помню павильон там шахматный с конем на фронтоне, пруд рядом, шахматные столики, и вдруг – появление человека яркой восточной наружности, чалму ему одень, был бы настоящий индийский факир. Этакое явление факира из сказочного мира. Таким я увидел Зака в первый раз. И делал он тоже что-то волшебное – один играл против всех. Впечатление от Смыслова, дававшего сеанс одновременной игры год спустя, было уже не то...

В этом же году я стал приходить к нему во Дворец пионеров, но и не только. Он стал заниматься со мной лично, дома, индивидуально. И так он всегда делал, если кого-нибудь с талантом видел. Он жил этим, загорался, конечно, мог и ошибиться, но работал, и помногу, в ущерб себе, своей семье... Я и оставался у них нередко, обедал. Это он королевскому гамбиту меня научил, и королем научил вперед выходить в дебюте, не бояться. Ведь дети впитывают все как губка, вот и я впитывал. Так я стал королем королевского гамбита в XX веке, ведь я по существу один его и играл.

Но он занимался со мной не только шахматами. Первый раз в жизни я был в опере тоже с ним. Помню, это была «Кармен», потом были и на «Лакмэ». Любовь к опере я сохранил до сих пор, и у меня сейчас большая коллекция опер. Так что и к этому Владимир Григорьевич руку приложил... Помню еще, что по его настоянию «Принц и нищий» Марка Твена прочел, и мучился очень, переживал, страдал несколько дней, когда принцу снова нужно было в нищего превращаться...

И в секцию конькобежную пошел по его настоянию, я ведь довольно хорошо бегал на коньках, когда был маленький, но начались шахматы, и эта страсть, конечно, все перевесила. Так, я на первой тренировке с не привычки – другие коньки были – упал и сознание потерял, пролежал длительное время, а когда очнулся, тренер так жалобно смотрела на меня: иди, мол, занимайся своими шахматами.

Сделал он для меня тогда еще одно огромное дело. Благодаря Заку и Левенфишу, который работал в конце 40-х годов в Спорткомитете, я стал получать стипендию. Материально это значило для нашей семьи неимоверно много, и мы смогли вздохнуть несколько. За одно это я благодарен ему безмерно, и семья его и сейчас помогаю.

Многое он взял от Романовского – тот был для Зака кумиром. Я сам Романовского мальчиком видел и знал плохо, а Заку он очень импонировал тем, что был типичный бессребреник, шахматы любил самозабвенно, было у него какое-то чувство жертвенности, все для шахмат, настоящий фанатик шахмат... И был Романовский каким-то полуинтеллигентом в отличие от Левенфиша, например, или Богатырчука, да и сам Зак в области духа тоже был скорее полуинтеллигентом и где-то очень советским человеком.

Мне кажется, что он не был сильным педагогом. Помню, в Риге в 1951 году играли мы вместе в четвертьфинале первенства страны и жили, как водится, в одном номере гостиницы. Я экономил тогда на еде, и потом, в конце, собрав 14 шоколадок, отдал ему: «Вам, Владимир Григорьевич, – для девочек, дочек ваших». Так он не взял, сказал: «Нет, это тебе самому, ты ведь любишь сладкое...» Обиделся я тогда очень, ну хоть бы несколько взял, а остальное отдал, а не все...

Там же в Риге были мы с ним вместе на кинофильме «Последний раунд», где боксер в конце своего тренера нокаутирует. Владимир Григорьевич при этом даже из зала вышел и сказал, расчувствовавшись: «Вот и ты так меня когда-нибудь нокаутируешь...» И обидчивый был очень. Помню, в 1960 году в Центральном клубе читал я лекцию, я тогда уже с Бондаревским работал. Не понравилось ему что-то в этой лекции, подошел он ко мне после ее окончания и сказал: «Ты – подлец!» И сказать это ему было, быть может, тяжелее, чем мне услышать. Нелегкого характера был Владимир Григорьевич, может быть, от того, что жизнь у него нелегкая была. Помню – это уже много позже было – у него на даче, в Ушково, сидели мы с ним вечер целый за бутылкой коньяка, и так он мне всю жизнь свою рассказал, трудную жизнь... Вообще, я стал его с возрастом больше ценить. Вот еще светлое воспоминание о нем: когда уже совершенно безнадежно проигрывал я матч Карпову в 1974 году, и Бондаревский уже прекрасно все понял, позвонил мне Владимир Григорьевич и сказал: «Знаешь, Боря, есть у меня один вариант, давай посмотрим вместе». Трогательно было очень...

Корчному было четырнадцать лет, когда он попал под опеку Зака. Это слово неполно передает всю гамму отношений, шахматных и человеческих, между тренером и его учеником.

Виктор Корчной: «Я рос без отца, он погиб на фронте, и Зак во многом заменил его. Я приходил к нему в дом, я был вхож в семью, он лепил меня, как человека. Его, пожалуй, можно назвать ленинградским интеллигентом. Я следил за его манерами, например, мне и сейчас трудно пройти мимо знакомого человека, если на мне шляпа, и не снять ее. Это я у него увидел, пусть маленький штрих, но все же... Он много сделал для моего человеческого воспитания. При всем при том, был он в чем-то очень советским человеком.

Был ли он также моим шахматным учителем? Только в определенном смысле и до определенного уровня. Он сыграл какую-то роль и в выборе моего дебютного репертуара, защита Грюнфельда, открытый вариант испанской, но скорее я сам себя учил, хотя, конечно, я не могу считать себя таким самоучкой, как Карпов или Иванчук. На более высоком уровне он уже фактически ничего не мог дать, и ему и не следовало стремиться на этот уровень, но я не уверен, понимал ли это он сам. Он был честолюбив в своих учениках, ему было приятно, когда они добивались успехов, кого он больше любил – меня или Спасского, я не знаю, вероятно – Спасского, ведь тот пришел к нему совсем маленьким. И он очень переживал, когда Спасский ушел от него к Толушу, очень. Позже, кстати, я сожалел, что тоже не поступил к Толушу, так как он значительно обогатил Спасского и очень многому научил. Я не думаю, что Зак был тяжелым человеком, скорее, он был тверд в своих принципах, а в этом я не вижу ничего плохого.

То, что он прислал мне книгу о шахматном Ленинграде без упоминания там моего имени, считаю началом его болезни. Может быть, именно этот факт, когда он исключил меня из списка своих людей, из списка ленинградцев, и стал одной из причин того, что он вступил на путь болезни, маразма... Он мне написал письмо, что лучше такая книга, чем никакая, а я ему ответил, нет – лучше никакая книга, чем вранье. И после этого между нами не было уже никакого контакта».

Так получилось, что Владимир Григорьевич сыграл решающую роль в выборе и моего жизненного пути. Когда по окончании школы для меня встал вопрос, где учиться дальше, он сказал: «А что ты думаешь по части географического факультета Университета? Во-первых, учиться там легко, будет много свободно-

го времени для шахмат, да и заместитель декана там – Сережа Лавров – большой любитель игры... Ну а если уж совсем не понравится, – переведешься на какой-нибудь другой факультет». Участь моя была решена, и, хотя я иногда задумывался впоследствии, не пойти ли мне по другой стезе, пять лет пролетели как-то незаметно, и я окончил географический факультет по специальности «экономическая география капиталистических стран». В начале 70-х, уже после переезда на Запад, в шахматной энциклопедии, изданной в Англии, я прочел, что Сосонко осваивает теоретические знания, полученные им в Университете, на практике... Поступив в Университет и формально не имея ко Дворцу уже никакого отношения, я, фланируя по Невскому, заходил иногда в шахматный клуб Дворца. Но по-настоящему я узнал Владимира Григорьевича, только когда сам стал работать там тренером. Тогда мы виделись фактически ежедневно на протяжении довольно длительного времени, вплоть до моего отъезда из страны.

Зак родился 11 февраля 1913 года в еврейской семье в городе Бердичеве на Украине. В 20-х годах семья переехала в Ленинград, Вульф стал Владимиром, еврейство его как-то растаяло, отошло куда-то далеко, пока в конце 40-х годов ему не напомнило об этом само государство. Но по культуре и воспитанию он был, конечно, русским человеком.

Всю войну Зак провел на фронте, там же вступил в партию, что было тогда, как и для многих, в порядке вещей. Шахматы всегда занимали главенствующее место в его жизни. До войны он занимался у Петра Арсеньевича Романовского; у мэтра дома собиралась группа молодых ленинградских шахматистов, в которую входил и Володя Зак. Под руководством Романовского анализировались партии, разрабатывались дебюты, игрались тематические турниры. Нередко он рассказывал и о шахматных корифеях прошлого. Аромат этих занятий Зак пытался донести до детей во Дворце: «Кто, вы думаете, играл сильнее всех в конце прошлого века?» – спрашивал он, копируя Романовского. Дети положительно не знали, что ответить, и терялись в догадках: «Стейниц? Чигорин?» – «Так же отвечали и мы», – говорил Владимир Григорьевич. После того как были названы все мыслимые имена, Романовский, подняв указательный палец вверх, говорил: «Мэзон, вы должны посмотреть партии Мэзона. Мэзон играл

сильнее всех...» Только став повзрослее, дети узнавали окончание этой фразы, которая не говорилась им из педагогических соображений. Именно: если он бывал трезв, разумеется, а это случалось нечасто...

Характерно, что сам Зак так и не стал мастером. Дважды после войны он играл матчи на звание мастера, что практиковалось в те времена. Один из них он проиграл мастеру Васильеву – инвалиду войны. Это был сильный мастер и аналитик. Помню рассказы Владимира Григорьевича о его анализах эндшпиля – ладья и конь против ладьи, где Васильев доказывал, что задача защищающейся стороны очень трудна. Мне всегда казалось, что ничью можно сделать как угодно, но каждый раз, когда я вижу это редкое окончание, вспоминаю Зака и секретные анализы мастера Васильева. Другой матч Владимир Григорьевич проиграл Юрию Авербаху, который вскоре после этого стал гроссмейстером. Мне кажется, что тот факт, что он так и не стал мастером, оставил у него рану, которая так и не затянулась, даже когда ему в 1958 году присвоили звание «Заслуженный тренер СССР». Вижу хорошо его на закрытии юношеского первенства страны, когда судья турнира, представляя тренера ленинградской команды, запнулся: «Мастер спорта... мастер спорта... кандидат в мастера спорта Зак». Лицо его и весь облик напоминали извятие времен цивилизации инков: немигающий взгляд был устремлен на говорившего и только желваки играли больше обычного.

Вспоминаю рассказ Зака о его партии с Суэтиным. В выигранной позиции Суэтин, тогда молодой кандидат в мастера, зевнул качество и сразу заметил это. Слезы навернулись ему на глаза, и его соперник позволил ему вернуть ход. Десяток ходов спустя Суэтин выиграл прямой атакой. Очевидно, что такого рода поступки не должны иметь места в практике турнирного игрока. К тому же совмещать игру с тренерской работой становилось все труднее, и Зак вскоре окончательно отошел от практики. Но, честно говоря, Зак и не был особенно сильным шахматистом.

Вспоминает Марк Тайманов: «Зак был шахматистом довольно узких представлений, в чем-то и начетчик. Он работал над теорией, выписывал какие-то варианты, но все это было в очень узком кругу и было очень догматично».

Действительно, шахматные концепции его, как мне кажется, имели законченный, устоявшийся, я бы сказал, в чем-то талмуди-

стский характер. И дебютные вкусы его были постоянны. Вспоминая пору своего ученичества и период конца 60-х – начала 70-х годов, когда видел его вблизи как тренера, могу сказать, что у Зака было несколько систем и дебютов, которые он страстно пропагандировал: защита Грюнфельда, открытый вариант и вариант Яниша в испанской, система с g3 в сицилианской, гамбит Шара – Генига и, конечно, королевский гамбит. В принципе, ему нравились позиции с нарушенным материальным соотношением или необычные в позиционном ключе. Вижу его хорошо за анализом одной такой, получающейся в славянской защите после ходов: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Kf3 Kf6 4.Kc3 c6 5.Cg5 dc 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Ch4 g5 9.K:g5 Kd5 10.K:f7 Фh4 11.K:h8 Cb4 12.Лc1 Фе4 13.Ce2 Kf4 14.Фd2 Kd3 15.Kpf1 K:c1 16.K:e4 C:d2 17.Kp:d2 K:a2. Он анализировал ее постоянно, пытаясь найти в возникающей пешечной гонке ресурсы за черных. Иногда это ему удавалось, чаще – нет, но он снова расставлял позицию с конем на a2. Было видно, что ему нравится сам характер борьбы: здесь не отделаешься определениями типа «заслуживает внимания» или полумерами, что, кстати, и соответствовало его человеческому характеру. Анализируя, он нередко резким, отбрасывающим движением руки рассекал воздух, показывая тем самым партнеру по анализу несостоятельность предложенного им хода или варианта. Речь его, да и других тренеров была пересыпана диковинными выражениями, цитатами, удивительными ассоциациями, нередко употреблявшимися во время анализа. «Так-так, – приговаривал Владимир Григорьевич, делая ход, – так-так, сказали мы с Петром Ивановичем» (или с Петром Арсеньевичем – в зависимости от настроения). Нередко он употреблял карточные термины, как-то: «А не пройтись ли нам за взяточкой?», создавая какую-нибудь угрозу или повторяя: «Сначала мы отберем свои» – при отыгрыше материала и т. д. Он играл иногда в карты; игра носила необычное название – винт и была, как объяснял Владимир Григорьевич, много сложнее преферанса, в ней использовались все 52 карты. Это, конечно, из традиций гоголевско-чеховского чиновничьего Петербурга: вечером, в винт, в своем кругу, по маленькой.

Иногда в анализе только что сыгранной партии принимали участие два тренера. Анализ, как это нередко бывает в таких случаях, превращался в игру, и поиски истины заменялись доказательством своей правоты.

Дети наблюдали за поединком тренеров, иногда сами предлагали ходы. Время, напоенное чудной игрой, летело незаметно...

Когда говорил Владимир Григорьевич, чувствовалось, что шахматы для него – все, вернее, даже не сами шахматы, а весь этот мир, где «полуфинал города среди юношей» звучал, как «Песнь песней», анализ или «шлифовка», как он называл этот процесс, ладейного эндшпиля представлялся важнейшим действием в мире, а вопрос, кто и на какой доске будет играть за сборную юношескую команду города, вырастал до проблемы глобального масштаба. Эту преданность шахматам дети чувствовали очень хорошо и сами, конечно, заражались ею.

При всем при том характер у Владимира Григорьевича был не из мягких. Был он человек, требующий к себе уважения, очень ранимый, обидчивый и упрямый. Я не думаю, что было бы правильно списывать все на тяжелые времена и трудную жизнь, она была такой тогда у всех, как и вообще всякая жизнь и во все времена. Зачастую он не мог или не хотел понять позицию другого, а понятие компромисса было ему чуждо. В этом случае он полностью прерывал отношения, прекращая даже здороваться. Во время моей тренерской работы во Дворце он не разговаривал с мастером Бывшевым. Бывало по несколько раз на день то один, то другой говорили мне: «Гена, ты не мог бы сказать Василию Михайловичу», или «Гена, спроси, пожалуйста, Владимира Григорьевича». Он говорил мне, разумеется, Гена и ты, а я ему Владимир Григорьевич, хотя на детях он обращался ко мне по имени и отчеству, увлекаясь разве что во время совместного анализа, когда снова говорил Гена. Мы были уже коллегами, и я тоже выезжал с детьми на соревнования и тоже уже давал пояснения группам иностранных туристов, приходящим в шахматный клуб Дворца, зная в глубине души (и сохранив это чувство до сих пор), что никакой иностранец не понимает и не может понимать смысла всего, происходящего в России. Объяснения мои и ответы на вопросы всякий раз повторялись, и только один раз я не нашелся что сказать, когда немолодой уже фермер из Айовы с детскими голубыми глазами, остановившись у панно с Лениным, играющим в шахматы, спросил неожиданно: «А кто выиграл?».

Я часто стоял, опершись о широкий подоконник, и глядел на уходящую вдаль линию Невского проспекта. Из-за спины доно-

сились привычные звуки: детские голоса, выстрелы от переключения часов, стук сбитых фигур. Или выходил покурить, дверь рядом вела в приемную, где сидела очаровательная Ирочка – секретарша директрисы Дворца Галины Михайловны Черняковой. Наконец, время подходило к восьми, клуб постепенно пустел и, если другие тренеры тоже уходили, Владимир Григорьевич говорил мне: «Ну что, Гена, не пора ли нам пора?» Мы тушили роскошную люстру, дважды проворачивали огромный ключ и шли к замечательной мраморной лестнице бывшего царского дворца, которая немало видела на своем веку. Спускаясь по ней, мы проходили мимо большого панно: пионеры в красных галстуках смотрят восторженно на Жданова – одутловатое лицо, усики, френч с большими карманами. Дворец пионеров носил тогда его имя, равно как и Университет, который я закончил. Было бы логично, если бы я и жил в Ждановском районе, но это было не так, я жил в Дзержинском. Нередко нас встречали родители или бабушки, чтобы поинтересоваться успехами детей или просто спросить, не шалит ли ребенок. Самых маленьких ждали внизу несколько часов перед гардеробом; зачастую дорога домой была неблизкая и не имело никакого смысла возвращаться, чтобы через полчаса снова собираться в путь, время же тогда не стоило ничего.

Владимир Григорьевич всегда давал несколько копеек старушкам-гардеробщицам и непременно называл их по имени и отчеству, Марья Гавриловна или Варвара Тимофеевна. Зимой помню его всегда в одном и том же черном пальто с потертым воротником, в руках у него был коричневый портфель, тоже выдавший виды. Перехватить десятку до следующей получки – часто встречавшееся явление тогда – не было тоже незнакомо ему. Мы выходили на Фонтанку и шли к Аничкову мосту, болтая о том, о сем. Вижу хорошо один такой весенний вечер, когда, вступая на мост и продолжая разговор о ком-то, Владимир Григорьевич произнес: «Ты знаешь, Гена, я никогда не ругаюсь, но об этом человеке могу сказать только, что он ..., нет, ты слышал от меня хоть когда-нибудь одно бранное слово?». Я отрицательно мотал головой. «Нет, ты меня очень извини, но человек этот ...». Спустившись с моста мы поравнялись уже с замечательной красоты дворцом Белосельских-Белозерских, где тогда размещался Куйбышевский райком партии. Владимир Григорьевич еще раз оглянулся, чтобы его не мог услышать случайный прохожий, и тихо произнес:

«Человек этот – говно». На углу Невского и Владимирского наши пути расходились, он садился в трамвай, чтобы ехать домой, я же переходил на другую сторону Невского, не зная еще, повернуть ли направо – в направлении дома, или налево – в сторону Садовой и Чигоринского клуба. Вечер еще только начинался, и неизвестно было, как и когда он кончится.

У Владимира Григорьевича было немало знакомых в научном мире. На протяжении долгого времени он руководил шахматным кружком в Доме ученых. Сам он закончил Институт киноинженеров, но никогда не работал по специальности и, мне кажется, испытывал пиетет ко всем этим профессорам и ученым, собиравшимся раз в неделю в особняке на Неве и под его руководством разбиравшим партии или игравшим в турнирах. Шахматы были для них не только любимой игрой, которой были отданы детские или юношеские годы, но и средством уйти в другой мир, без собраний, политинформаций, юбилеев и коллективных писем протеста или в защиту, которыми была пронизана вся жизнь тех времен.

В январе 1972 года, моего последнего года в России, мы были вместе в Чернигове на всесоюзных юношеских соревнованиях. Темы разговоров за ужином были обычные: X никак не может избавиться от цейтнотов, разочаровывает Y, а вот Z, наоборот, сильно прибавил. Изредка, когда заходила речь о жизни самой, Владимир Григорьевич вздыхал: «Вот, если бы был жив Ленин, все было бы по-другому» – точка зрения, довольно распространенная тогда у людей его поколения. Я слушал и не слушал его; моя собственная жизнь была занята уже другим: через несколько месяцев я подал документы на выезд из Советского Союза.

Мы встретились за несколько дней до общего собрания, где все должны были осудить мой поступок, бросающий тень на весь Дворец пионеров, и гуляли долго неподалеку от его дома. Я избегал тогда говорить в помещении по причине, понятной каждому, кто жил в те времена в Советском Союзе. Владимир Григорьевич сразу сказал, что на собрание не придет, как не пришли, кстати, и другие шахматные тренеры, мои коллеги. «Ты представляешь себе, что тебя ждет, если тебе не разрешат уехать?» – спрашивал он. Ему было тогда почти шестьдесят и он хорошо знал, чем могут кончиться подобные эскапады по отношению к государству. Ни-

когда нельзя было предвидеть, сколько продлится процедура ожидания визы и во что выльется все это вообще. Более поздний пример Гулько, проведенного в отказе семь лет, – тому свидетельство. Прощаясь, Зак сказал: «Чтобы там ни случилось, Гена, желаю тебе счастья», и не то чтобы обнял, а как-то наклонился ко мне. Банальные слова, конечно, но для него и немалые, вероятно, потому и запомнил их. Это был последний раз, когда я видел его.

Контакта у нас не было до конца 80-х годов, хотя я и знал, что он продолжает работать во Дворце: что-то доходило и до моего голландского далека. Стал гроссмейстером и чемпионом Европы среди юношей один из его учеников – Александр Кочиев, которого помню худеньким мальчиком с рыжей шевелюрой, уже тогда отличавшимся философским отношением к жизни и замечательным умением играть блиц. Он вспоминал позднее: «Был Владимир Григорьевич тренером высочайшего класса, хотя и до определенного уровня, но и характер имел тяжелейший». Хорошо помню и другого его ученика – симпатичного пухлого мальчика с пионерским галстуком. Сверстники называли его Ермолой, и он не мог знать еще, что через четверть века будет играть на первой доске за сборную Соединенных Штатов. Знаю, что уже после моего отъезда у Зака занимались и Валерий Салов, и совсем маленький Гата Камский. Но в конце концов он должен был уйти из Дворца, где проработал более сорока лет. У него испортились к тому времени отношения с коллегами, некоторые из которых были в прошлом его учениками. Они имели уже собственных учеников, собственные амбиции и представления о тренерском процессе. Повторюсь: Владимир Григорьевич был человеком, что называется «strong opinions», и ежели говорил: «Я так считаю», – это звучало так, как будто это и было единственно верное мнение. Было ему к тому времени 73, возраст, что и говорить, больше располагающий к размышлению о бренности всего земного, чем к показу тонкостей гамбита Шара – Генига. Но он просто не мог оставить дела, которому отдал всю жизнь; досуг мог стать опасен для него, и вряд ли он смог бы обрести покой в праздности.

Александр Кентлер, руководивший шахматной школой Университета, где Зак стал работать тренером, вспоминает, что и здесь Владимир Григорьевич любил анализировать позиции с нарушенным материальным равновесием, и здесь любил показывать свои

дебюты, иногда и повторяясь, но делал это всегда с удовольствием. Вначале он работал три дня в неделю, затем два, потом только один... Надо ли говорить, что он никогда ни на минуту не опоздал на работу. Не всегда все получалось уже на доске, но у многих осталась от него какая-то линия в жизни, пусть хоть и пунктирная.

Он написал в этот период несколько книг, поучительных для каждого тренера. Но есть там и абзацы, сквозь которые проглядывает обида, явная или тайная. Речь идет о проблеме, чувствительной для него самого. Он сформулировал ее так: «Могут ли успешно продолжать работу со своими учениками тренеры, когда их практическая сила начинает уступать мастерству учеников?» Проблема эта выходит за рамки шахмат, да и спорта вообще: должен ли тренер или педагог всегда превосходить ученика или, наоборот, это может даже служить препятствием, так как люди, которым величайшие достижения кажутся простыми и естественными, не могут понять, почему замысел, маневр или движение, очевидные для них, могут стать источником трудностей для других. Эта проблема носит и другой аспект: границы и степени благодарности ученика своему учителю. Но если, к примеру, в музыке профессия детского педагога имеет давние традиции, в шахматах само понятие – детский тренер – появилось впервые в Советском Союзе где-то в 30-х годах и получило широкое распространение там только после войны. Может быть поэтому не было четкого водораздела между детским тренером, тренером, секундантом или просто спарринг-партнером. Действительно, Зак очень болезненно воспринял уход четырнадцатилетнего Спасского к другому тренеру – Толушу, показавшему тому шахматы с другой стороны и расцветившему его талант.

Нельзя не учитывать, что процесс этот происходил на фоне человеческих и материальных отношений искусственной, закрытой от остального мира жесткой тоталитарной системы – тогдашнего Советского Союза. Жертвенность и бессребренничество, работа за просто так, за ничто, считалась в порядке вещей. Ботвинник, нередко поминая в разговорах Ван Гога, спрашивал меня: «Почему, вы думаете, Ван Гог не писал больших полотен?» И сам же отвечал: «Да потому, что у него не было денег на покупку большого куска холста. Он же был нищий!» Было видно, что именно этот аспект жизни голландского художника – нищенство, одер-

жимость работой, подвижничество – очень импонирует патриарху, и в каком-то смысле в ретроспективе проецируется на него самого.

Это бесребренничество, по понятиям Запада, фактически и нищета, подвижничество, в чем-то и жертвенность, но и одухотворенность, порыв, увлеченность и преданность делу до фанатизма, создали определенный тип людей. Конечно, грозные события XX века, и в Советском Союзе в первую очередь, не могли не коснуться их. Всю свою сознательную жизнь они прожили в этой стране, сформировавшей, так или иначе, их мировоззрение, привычки и образ жизни, но весь свой талант и энергию они отдавали делу, которому была посвящена жизнь. Учителя в школе, преподаватели в Университете, тренеры во Дворцах пионеров, доценты в Консерваториях – большинство их имен совершенно неизвестно на Западе. К этому типу людей принадлежал и Владимир Зак. Результатом их работы явились сдерживаемые на протяжении десятилетий и выплеснутые из Советского Союза энергия и талант людей, завоевавших передовые позиции за университетскими кафедрами, шахматными столиками и на концертных подмостках мира.

В 1988 году, когда Советский Союз стал уже как-то крошиться, я, будучи в Москве с молодым Пикетом, позвонил Заку по телефону. В том же году вышла книга, посвященная шахматному Петербургу-Ленинграду, с именем Зака на титульном листе. Тираж ее – 100 тысяч экземпляров – был совсем не редким в те времена. Конечно, Зак не мог знать, что уже через несколько лет Корчной возвратится в Россию на белом коне, но все равно он не должен был принимать участия в книге, в которой имя Корчного даже не упоминалось. Руководили ли им чисто практические, гонорарные соображения? Было ли это еще одним актом самоутверждения? Известно ведь, что даже самым мудрым от честолюбия удастся избавиться позже, чем от других страстей. Было ли это временным помрачением или, как полагает Корчной, явилось началом его болезни? Первые симптомы ее известны: забывчивость, потом все усиливающаяся, обида или агрессивность, если на это указывают.

В феврале 1993 года справили юбилей – восьмидесятилетие.

Когда я позвонил ему короткое время спустя, мне ответили: правильно набирайте номер, здесь таких нет. Получив еще раз тот же ответ, я обратился за разъяснениями к Спасскому. Тот уже

был в курсе дела: Владимира Григорьевича отдали в дом для престарелых. Он вступил в самый последний период жизни, «когда все позади – даже старость, и остались только дряхлость и смерть».

Конечно, не в традициях России отдавать стариков из семьи в дом для престарелых, потому и живут там, как правило, те, у кого уж совсем никого нет. К тому же, каждый в России понимает, что это значит – дом для престарелых, даже если у тебя отдельная комната, как это было у Владимира Григорьевича в Павловске. Время от времени к нему приезжал кто-то из учеников, но самые известные жили далеко: во Франции, Швейцарии, Испании, Америке... Это был, конечно, уже не тот Владимир Григорьевич, которого они знали в свое время, но это было и не растительное существо, какими заполнены такого рода дома во всех странах мира. Он выслушивал последние новости, перелистывал шахматные журналы, иногда и смотрел что-то на шахматах, радовался гостинцам, но и плакал часто... Из Владимира Григорьевича ушел уже Владимир Григорьевич, учивший маленького Боря Спасского не бояться потери рокировки в королевском гамбите, но и тот, который остался, не хотел больше оставаться в этом доме. Он уходил оттуда несколько раз, его отсутствие замечали, снаряжалась погоня, его возвращали. Куда он шел? Домой? К своим ученикам? В далекое бердичевское детство?

Владимир Григорьевич Зак умер 25 ноября 1994 года.

«В нашем сознании игра противостоит серьезности... Мы можем сказать: игра – это несерьезность. Но помимо того, что такое суждение ничего не говорит о положительных свойствах игры, оно вообще весьма шатко. Стоит нам вместо «игра – это несерьезность» сказать «игра – это несерьезно», как наше противопоставление лишается смысла, ибо игра может быть чрезвычайно серьезной», – писал Йохан Хейзинга 60 лет тому назад. Зак, один из наиболее ярких тренеров послевоенного времени, представил игру, шахматы для ребенка, подростка, не просто как серьезное занятие, но и как дело, могущее стать смыслом всей жизни. Но в таком отношении к шахматам он, как тренер, был тогда не одинок, одного этого было бы недостаточно. Конечно, его личные качества: эмоциональность, горение, одухотворенность только укрепляли веру молодого человека в высокое назначение шахмат. Но и это было бы неполным объяснением.

Марк Тайманов: «Не думаю, чтобы Зак был педагогом высокого уровня, он не был и сильным игроком, но примечательно, что из его рук выходили шахматисты совершенно различного стиля игры высочайшего класса. Вероятно, какой-то секрет у него был». Действительно – какой? Сам он скажет позже: «Мне просто повезло с учениками. Все зависело только от них. Если бы они не хотели играть, я сам бы ничего сделать не смог». И все же, почему – именно он? Только ли - талантливые ученики? Время, этому способствовавшее? Все совпало? Отчасти. Но главное, мне кажется, не в этом.

Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет. Это, конечно, о нем. Владимир Григорьевич Зак был великим учителем шахмат.

Июнь 1999

СТРАСТЬ

Турнир в Вейк-ан-Зее в 1977 году сложился очень удачно для меня. Я лидировал начиная с первого тура, и, только выиграв последнюю партию, Геллеру удалось стать вровень со мной. Скептически-одобрительно поджав губы и покачивая головой, он, наблюдая за моими партиями, говорил: «Вылитый Сёма, сразу видно – ленинградская школа, это же он так учил играть – по центру»...

Геллер имел в виду моего фактически единственного тренера Семёна Абрамовича Фурмана. Во Дворце пионеров постоянного тренера у меня не было, поэтому, когда осенью 1959 года в Чигоринском клубе образовалась возможность заниматься с Фурманом, решение пришло само. Группа была небольшая – человека три-четыре, и просуществовала она, как помню, года два. Во время одного из первых занятий он сказал: «Вы не должны меня спрашивать то, что можно найти в дебютных справочниках, это было бы потерей времени».

Мы подвергали всестороннему анализу различные позиции, чаще всего дебютные или, я бы сказал, предмиттельшпильные, но основное внимание уделялось анализу собственных партий, большей частью проигранных. Помню, как после более чем часового анализа одной из моих партий, когда, казалось, уже все стало ясным, мы подошли к заключительной позиции, где партия была признана ничьей. Эндшпиль был таков: четыре пешки белых против трех на королевском фланге, у черных отложилась проходная на ферзевом, правда у белых, которыми играл я, были два слона, против слона и коня соперника. «Ты знаешь, – сказал Фурман, – что у тебя в заключительной позиции перевес, и немалый». Стали анализировать. Неожиданно проходная пешка черных делалась слабой, а то и вообще погибала, король белых просачивался во вражеский стан, два слона свирепствовали.

Помню и его характерное поднятие бровей и взгляд из-под очков, когда я показывал ему одну из своих партий. «Интересно, – спросил Сёма – а у кого ты подсмотрел эту идею?» Хотя я клялся, что придумал все за доской, он стоял на своем: «Может быть и так, но все равно в подсознании у тебя осталась увиденная ранее партия кого-нибудь из классиков».

В моих глазах он был тогда пожилым человеком, вероятно, этому способствовала внешность: седина, залысины, увеличивавшиеся с возрастом, хотя, честно говоря, я тогда даже не задумывался о его возрасте: все старше тридцати казались мне уже немолдыми людьми. Сёме было в то время тридцать девять лет.

Он родился 1 декабря 1920 года в Пинске, в Белоруссии, где процент еврейского населения в городах и местечках был традиционно высок. Его вдова Алла Фурман вспоминает: «Родители Сёмы говорили на идиш, понимал его и он сам, но никаких еврейских праздников и традиций в семье не соблюдали. Не был Сёма и членом партии, хотя и зазывали, многие его турниры и заграничные поездки не состоялись как раз из-за этого».

В 31-м году семья переехала в Ленинград, несколько позже в его жизнь вошли шахматы. Он был учеником Ильи Рабиновича – сильного мастера позиционного стиля. Закончив школу, Сёма не стал учиться дальше и поступил слесарем на завод; шахматы захватили его тогда уже целиком. Естественный творческий рост Фурмана задержала война. Когда он стал мастером, ему было двадцать пять лет – солидный возраст по нынешним меркам.

О тех временах вспоминает Марк Тайманов: «С Сёмой нас связывали долгие годы совместной работы, регулярной, каждодневной. У нас был разный подход к шахматам, и единство оценок давалось нам с трудом. Мы занимались в первую очередь дебютом, нельзя забывать, что это были годы, когда только закладывался фундамент современной теории шахмат, и проблемные позиции возникали едва ли не после каждой партии и во многих дебютах. Память у Сёмы была превосходная, но он никогда не довольствовался ею, стараясь до всего докопаться сам, собственным аналитическим трудом. Бывали дни, когда анализы наши затягивались до полуночи, а на следующий день утром он уже снова был у меня. Кроме того, Сёма был очень упрям, и нередко изыскания наши достигали глубокого эндшпиля. Все варианты мы проверяли очень тщательно и записывали в толстые тетради, снабжая для наглядности диаграммами, рисованными от руки. Эти тетради у меня сохранились, и я до сих пор вылавливаю из них варианты, не потерявшие актуальности и сегодня. Сёма был простым и малообразованным человеком, он ведь после школы нигде не учился, он не был ни в коем случае интеллектуалом, но дру-

гом был очень преданным, и, хотя бывал немногословен, обладал замечательным чувством юмора. Во время чемпионатов СССР и вообще турниров на выезде мы часто жили в одном номере гостиницы; так было на протяжении многих лет».

В чемпионатах Советского Союза, бесспорно сильнейших турнирах в мире того времени, Фурман дебютировал в 1948 году и сразу громкий успех – третье место. Вместе с Котовым он еще за три тура до конца находился во главе турнира, и только слабый финиш не позволил свершиться полной сенсации. В том же году стал чемпионом мира Ботвинник, входил в мировую элиту Керес, уже ярко блистал выдающийся Бронштейн. Болеславский был тогда не только замечательным теоретиком, но и игроком высочайшего класса, почти на самой вершине пирамиды стоял Смыслов, через несколько лет вышли на мировую арену Петросян, Геллер, Тайманов, Авербах, сразу вслед за ними представители новой волны: Спасский, Корчной, Таль, Штейн; список этот далеко не полный. Сёма регулярно играет тогда в первенствах страны, но ему ни разу не удается превзойти тот первый результат. Фурман выигрывал у них всех, и все они, садясь за партию с ним, считались с высоким, гроссмейстерским классом его игры. Официально же гроссмейстером он стал только в сорок пять лет – сегодня в этом возрасте многие уже заканчивают шахматную карьеру.

Белыми Фурман практически всегда начинал партию ходом 1.d4, редко прибегая к 1.c4, или 1.Kf3, черными же играл многие начала, избегая, впрочем, те, в которых отсутствует крепкий центр, такие, как защита Грюнфельда, Пирца, Алехина или индийские построения. При игре белыми право первого хода у Фурмана было оружием огромной пробивной мощи, особенно же ему удавались позиции с преимуществом в пространстве и центральной игрой, там часто шел накат, и сильнейшие игроки мира не уходили от его хватки.

Но как бы ни был силен Фурман-практик, он уступал Фурману-теоретику, который был без сомнения одним из ведущих в мире. Его идеи остались во многих дебютах: защите Нимцовича и староиндийской, сицилианской, принятом ферзевом гамбите, где одна из систем носит его имя. Вариант Брейера в испанской был создан и введен в практику Фурманом и Борисенко в начале 50-х годов и так и назывался в советской шахматной литературе «вариант Борисенко – Фурмана».

Вспоминаю, как в 1959 году, вернувшись с первенства страны, он показывал свою партию с Нежметдиновым. В позиции из староиндийской защиты, полной тактических возможностей, Фурман, играя белыми, сделал парадоксальный ход, отведя ладью от возможных ударов на исходную позицию. Через несколько ходов, еще более укрепив центр, белые вернули ладью в игру и Фурман выиграл прямой атакой на короля. Год спустя тот же маневр применил Ботвинник в аналогичной позиции против Пахмана на первенстве Европы в Оберхаузене, решив партию позиционной жертвой коня. Эти партии, вся манера игры привели к тому, что позиции, считавшиеся в свое время вполне игровыми, с обоюдными шансами, сейчас практически совсем исчезли из турнирной практики, заставив черных искать новые пути в одном из основных вариантов староиндийской защиты.

Анализы и разработки Фурмана носили глобальный характер, речь шла, как правило, о концепте, а не об обнаружении того или иного хода, меняющего оценку с немного лучшей на равенство или наоборот. Вся игра белых, стремление к обладанию центром, логика и ясность были характерны для стиля Фурмана.

Глубокое понимание шахмат, и дебюта в первую очередь, обилие собственных идей и разработок, сделало его желанным советником, секундантом и спарринг-партнером многих выдающихся шахматистов. Его услугами нередко пользовался Ботвинник, сыгравший с Фурманом не одну тренировочную партию. Он помогал также в различные периоды их шахматной карьеры Тайманову, Бронштейну, Петросяну, Корчному. Но во всех этих случаях речь шла о сотрудничестве с уже сложившимися гроссмейстерами высочайшего класса. Работа была в основном консультационной, доведением дебютных систем и вариантов до нужных кондиций, выявлением новых возможностей. Так продолжалось до тех пор, пока Фурман не начал работать с Карповым.

Толе Карпову было тогда семнадцать лет и, хотя он был уже мастером, он не умел и не знал еще очень многого в шахматах.

Алла Фурман: «Когда Сёма помогал Ботвиннику или Петросяну, он уезжал на работу на неделю, на две или дольше, но когда появился Толя – он стал всем. Можно ли сказать, что Толя занимал особое место в его жизни? Безусловно, бесспорно, он любил Толю безоговорочно, и все эти десять лет они были неразлучны.

Когда Сёмы не стало, Толя сказал, что последние десять лет Сёма больше провел с ним, чем со мной. Это была сушая правда: бесконечные сборы, тренировки, турниры, отъезды – он был не с семьей – с сыном, со мной, но с Толей».

Он увидел в Карпове-подростке то, чего не хватало в шахматах ему самому, и отдавал ему все, что знал об игре, поэтому стремительно нараставшие успехи Карпова были самовыражением в шахматах и самого Фурмана. По-настоящему они начали работать с осени 1968 года, хотя в первый раз встретились раньше.

Вспоминает Анатолий Карпов: «Легко установить тот день, когда я в первый раз увидел Семена Абрамовича, – это было сразу же после 18-й партии матча Ботвинник – Петросян в мае 1963 года. Фурман, помогавший тогда Ботвиннику, советовал ему в той партии, которая была отложена, сделать ничью. Ботвинник же, полагая, что у него лучше, стал играть на выигрыш и проиграл. Рассердившись, он отправил Фурмана читать лекции в Подмоскovie на сборы «Труда», где был и я. Было мне тогда неполных двенадцать лет. Начали же мы вместе работать осенью 1968 года, когда я, поступив сначала в Московский университет, переехал в Ленинград, где жил Фурман. Это и явилось причиной переезда, возможность постоянных занятий с ним, регулярного общения. Без сомнения, в моем формировании как шахматиста Фурман сыграл решающую роль. Дело даже не в том, что он был универсальным знатоком теории, у него была масса собственных идей, он генерировал идеи, особенно белыми. Он и играл белыми на порядок, а то и на два лучше, чем черными. И чутье было замечательное, сразу видел главную линию в анализе, пространство очень любил. Но и упрямый был невероятно, это вообще неплохо – упрямство в анализе, я это люблю даже, но у него это порой до глупости доходило, хотя, с другой стороны, иногда удавалось спасти системы, которые были под страшной угрозой. Поначалу он мне казался спокойным человеком, но потом я увидел в нем большую внутреннюю энергию, которая выражалась не только в шахматах. Был он заядлый картежник, каждую осень – за грибами, и места грибные знал, другой ритуал – кормление рыб в аквариуме, вместе с сыном. Я и рыб этих помню, и название в памяти осталось – гуппи, хотя сам и не интересовался никогда.

Нет, ссор не было, было непонимание, когда я не выиграл из-за его карт чемпионат страны в Ленинграде. Было у меня преиму-

щество в отложенной важнейшей партии с Савоном, и немалое. Сёма же до пяти часов ночи с Левитиной в карты играл, потом, не анализируя фактически, предложил план, я его и послушался – едва ноги унес...»

Семен Абрамович Фурман производил впечатление спокойного, даже флегматичного человека. На ранней фотографии 48-го года он выглядит скорее как брокер на нью-йоркской бирже 30-х годов или голливудский актер, играющий гангстеров, но в то время, когда я с ним познакомился, у Сёмы была внешность скорее доцента университета или главного бухгалтера строительной фирмы. Он был молчалив, и в шахматных кругах стала знаменитой его фраза: «А вы задавайте вопросы», – когда будущая жена при первом знакомстве поинтересовалась причиной его молчания. Говорил он медленно, слегка картавя, в движениях своих был размерен – не спеша передвигал фигуры на доске, медленно тянулся к кнопке часов, вынимал сигарету, чиркал зажигалкой, поправлял очки... Но внешность эта была обманчива. Если верно, что характер каждого человека соответствует какому-то определенному возрасту, то в Семином случае возраст этот находился где-то на отрезке между двадцатью и тридцатью годами. Те, кто были знакомы с ним близко, знали, что отличительной чертой его натуры была страсть. Страсть, проявлявшаяся во всем, чем бы он ни занимался, будь то карточная игра, собирание грибов, рыбная ловля или слушание заграничного радио. Страсть и недалеко отстоящие от нее по шкале эмоций – азарт и упрямство. Разумеется, главной страстью его были шахматы.

«Знаешь, Алена, – говорил молодой жене Сёма, – я теперь не знаю, как я буду в шахматы играть, потому что я люблю тебя больше, чем шахматы, и я не знаю, как совместить теперь эти две любви...». Алла Фурман вспоминает: «Он занимался шахматами все время. Любил смотреть на карманных шахматах, ведь у нас и места дома было немного. Но и без шахмат – я видела это – он все время думал о них, в поезде, в автобусе – я знала этот взгляд, когда он слушал и не слышал то, что я говорила ему, он был весь в шахматах».

Бывало, что шахматы держали его в напряжении и ночью В 63-м году чемпионат страны, в котором играл Фурман, проходил в Ленинграде, и я бывал там почти каждый вечер. В четвертом

туре Фурман играл с Холмовым, который разделил в том турнире первое место со Спасским и Штейном. Ратмир Холмов – шахматист выдающегося природного дарования – славился прохладным отношением к теории дебютов и невероятной цепкостью в защите. Однако в тот вечер, казалось, ему не удастся уйти – это была позиция Фурмана: мощный центр, два слона, давление белых нарастало. Но как-то постепенно перевес Фурмана растворился, и партия закончилась вничью. Когда мне удалось проникнуть в комнату для участников, анализ ее уже закончился, и Сёма сидел один в характерной позе, подперев затылок рукой, в другой – тлела сигарета. «Большое было преимущество, Семен Абрамович?» – спросил я. Он грустно посмотрел на меня и ничего не ответил, было видно, что он еще не отошел от партии. «Всю ночь меня не покидало чувство неисполненного долга, – вспоминал Фурман на следующий день, – я заснул только под утро, и во сне заматовал-таки Холмова!»

Даже после того, как наш кружок как-то распался, и занятия прекратились, я часто встречался с Фурманом на соревнованиях или в Чигоринском клубе. В 1964 году в чемпионате Ленинграда мне удалось выиграть у него, вероятно, одну из лучших партий того периода моей жизни. Играя черными, я понимал, что в академической борьбе за уравнивание шансов у меня немного и в дебюте уже на десятом ходу пожертвовал качество. Какая-то инициатива у меня была, его король был вынужден временно задержаться в центре. Это было верное решение, в первую очередь, в психологическом смысле. Дело было даже не в резкой перемене обстановки на доске. Вследствие своих обширных знаний и большой культуры дебюта плохие или даже худшие позиции у него практически не встречались, и он играл их менее уверенно. Мне кажется, что по той же причине игра выдающихся знатоков дебюта – Портиша в 60-е – 70-е годы и Каспарова в наше время в худших или несколько худших позициях также слабее, относительно, разумеется, по сравнению с игрой при нарастающем позиционном давлении, в сложном миттельшпиле, фигурной атаке или в техническом окончании.

В 1966-м я проходил действительную службу в рядах Советской армии. За официальной формулировкой этой скрывалось проживание дома, крайне редкое ношение формы, игра блиц и в карты в

шахматном клубе Дома офицеров, впрочем иногда и в армейских соревнованиях за Ленинградский военный округ. В один из солнечных весенних дней 1966 года мы, мои коллеги-солдаты по спортивной роте – Марк Цейтлин, Эрик Аверкин и я, получили предписание: помочь с переездом на новую квартиру Фурману – нашему тренеру и одноклубнику. Помню немудреную обстановку, шахматные книги, стопки бюллетеней, выпускавшихся тогда по поводу любого мало-мальски пристойного турнира. Когда к часу дня операция была успешно завершена, Сёма сказал: «Это дело надо обмыть». Он пригласил нас в ресторан «Москва» на Невском проспекте, тогда очень престижный. «Что будем пить, ребята?» – спросил он. «Как скажете, Семен Абрамович», – отвечали мы. Литр водки за обедом был выпит легко, и Сёма пил наравне с нами. Он вообще не чурался рюмки, был человеком компанейским и расположенным ко всем, кто также был расположен к нему. В три часа мы уже выходили из ресторана, довольный Сёма снова благодарил нас за помощь, но и у нас настроение было замечательное: хотя до вечера было еще далеко, день службы уже прошел, Невский и вся жизнь лежали тогда перед нами...

Полгода спустя он тяжело заболел: потеряв за месяц около двадцати килограммов, Фурман должен был, не закончив турнира и вернувшись в Ленинград, подвергнуться тяжелой операции. Я сам работал уже в Чигоринском клубе и, помню, ходил по инстанциям с письмом-просьбой шахматной федерации, чтобы Фурмана прооперировал Мельников – светила тогдашней онкологии, что и произошло. Операция удалась, и болезнь отступила, чтобы вернуться обратно через одиннадцать лет. Но годы эти стали особыми в его жизни, потому что в них вошел Карпов.

Летом 1971 года в доме отдыха архитекторов в Зеленогорске, под Ленинградом, я помогал Корчному в подготовке к его матчу с Геллером. В соседнем коттедже жили Фурман с Карповым. Изредка, когда время приближалось к предобеденному, мы навещали их. На подходе к домику Корчной и я нарочито громко говорили, давая знать о своем приближении, дабы не вторгнуться нечаянно в тайну анализа; если же окна были затворены, бросали в них горсть песка, как это делали любовники в старинных французских романах.

К этому же времени, кстати, относятся четыре тренировочные

партии, сыгранные между Корчным и Карповым. Соперники выиграли по одной партии при двух ничьих, хотя, справедливости ради, нужно сказать, что во всех четырех у Карпова были белые фигуры. Партии эти явились как бы прологом к генеральной репетиции – финальному кандидатскому матчу в Москве в 1974 году и к жестоким схваткам на мировое первенство на Филиппинах и в Мериано.

Во время сборов при подготовке к соревнованиям, да и на самих соревнованиях процветали карточные игры. В конце 60-х годов вошел в моду бридж, он стал одной из страстей Фурмана. Как и многое тогда в Советском Союзе, бридж не был официально запрещен, но не был и рекомендован. Игра эта сразу захватила его полностью, что, впрочем, совсем не значило, что другие карточные игры были забыты, просто бридж стал для Сёмы главной карточной страстью. По мнению Карпова, он никогда не играл в бридж сильно, хотя и здесь придерживался классики, изучал теорию, системы, способы торговли. «В бридже очков нет, – выговаривал он как-то при мне начинающему бриджисту, – запомни – у тебя на руках тринадцать пунктов», – и сердился, когда тот через минуту снова начинал заговаривать об очках.

Однажды в том же Зеленогорске, в то время как взрослые сидели за карточным столом, маленький сын Фурмана – Саша и Ирина Левитина решили испробовать надувную резиновую лодку. Поднялся ветер, и ее стало относить от берега. Когда ситуация стала тревожной, все забеспокоились: «Они уже далеко, надо что-то предпринимать...» – «Пока не будет сыгран роббер, – раздался голос Фурмана, – никто никуда не пойдет!» Иногда карты сменялись домино, надо ли говорить, что и этой игре Сёма предавался самозабвенно. Процесс игры редко проходил в молчании, удары костяшек по столу сопровождались соответствующими комментариями, нередко переходящими в полемику, когда игра заканчивалась. Сёма тоже мог вернуть словцо, когда и сильное, он знал немало присказок и выражений, особую пикантность которым придавал контраст с его профессорским видом. На одной из Спартакиад команда Ленинграда выступала не особенно успешно, растеряв немало очков во встречах с более слабыми соперниками. Чтобы сохранить шансы на медали, надо было сделать ничью в отложенной безнадежной позиции и выиграть равные. Последней надеждой был Фурман, к которому принесли

на суд все позиции, уповая на чудо. Сёма долго сопел, по обыкновению недоуменно поднимая и опуская брови, и, наконец, изрек: «Что ж здесь сказать. Профуканное ворохами – не воротишь крохами». Даже еще и сильнее сказал. Все засмеялись, сдали без игры проигранную позицию и согласились на ничью в равных.

Пребывание за городом открывало прекрасные перспективы и для другой страсти Семена Абрамовича – слушанию зарубежного радио. Сёма принадлежал к не такой уж нераспространенной тогда категории людей, которые на память знали время работы радиостанций, вещавших на Советский Союз. Но если игра в бридж была больше шалостью, на которую смотрели сквозь пальцы, к слушанию заграничных радиостанций государство относилось менее толерантно, предпринимая защитительные меры, делающие прием затруднительным или совсем невозможным, другими словами, применяя глушение. Особенно сильно оно чувствовалось в крупных центрах, поэтому грех было, находясь за городом, не воспользоваться случаем, тем более, что транзисторный приемник, привезенный Сёмой из заграницы, имел, в отличие от большинства советских, короткие волны, что значительно облегчало прием. Понятно, что занятие это никак не поощрялось, а на наиболее суровых отрезках истории Советского Союза даже каралось, поэтому происходило оно всегда в кругу своих. Сёма не только умело лавировал между волнами, обходя наиболее ревущие, но и знал имена дикторов, ведущих и авторов программ «Свободы», «Голоса Америки», «Би-Би-Си» и «Голоса Израиля». Радио Сёма слушал только по-русски, знание иностранных языков не было его сильной стороной. Польза от изучения иностранных языков в школе у него, так же как у подавляющего большинства его соотечественников, была близкой к нулю, потом же все свободное время заняли шахматы, да и не просто зубрить слова в том возрасте, когда хочется проникнуть в суть выраженных ими вещей.

После турнира в Вейк-ан-Зее в 1975 году я давал с ним и Геллером сеанс одновременной игры в Амерсфорте. Слушая приветствия организаторов, в знак уважения к зарубежным гостям произносимые по-английски, Сёма тихонько вздыхал: «Прав был Михаил Моисеевич...» Я вопросительно смотрел на него. Сёма разъяснял: «Наша школа в Ленинграде считалась шахматной.



Ефим Геллер. Вейк-ан-Зес. 1966 год.



Ян Тимман, Генна Сосонко, Анатолий Карпов, Ефим Геллер.
Матч СССР – Голландия, Олимпиада, Мальта, 1980.



Ефим Геллер с женой Оксаной и сыном Сашей на даче в Переделкино, 1990.



Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера.



Играют Х.Р.Капабланка и Эм.Ласкер. 1925.
I Московский международный турнир.



Капабланка с женой Ольгой. 1938.



А.Алехин - Х.Р.Капабланка. Матч на первенство мира. Буэнос-Айрес, 1927.



Вдова Х.Р.Капабланки Ольга и Генна Сосонко.
Манхэттен, Нью-Йорк, 6 мая 1984.



Владимир Григорьевич Зак. 40-е годы.



Боря Спасский и Владимир Григорьевич Зак.



Борис Спасский и Виктор Корчной. Шахматный клуб им.М.И.Чигорина.
Санкт-Петербург, 1997.



Семен Фурман. Вейк-ан-Зее, 1975



Семен Фурман в возрасте 28 лет..



Исаак Болеславский, Семен Фурман, Давид Бронштейн
во время чемпионата СССР. Москва, 1949 год.

Семен Фурман
и Ратмир Холмов.
Чемпионат
Советского Союза,
Москва, 1963.



Анатолий Карпов и
Семен Абрамович Фурман,
70-е годы.



Александр Кобленц наблюдает за анализом партии Таль -- Ботвинник.
Москва, 1960.



Евгений Васюков, Тигран Петросян, Михаил Таль, Александр Кобленц.
Москва, 60-е годы.



Алвис Витолиньш.



Алвис Витолиньш и его постоянный соперник
в чемпионатах Латвии Янис Клованс.



Григорий Яковлевич Левенфиш.



Григорий Яковлевич
Левенфиш,
40-е годы.



Петр Арсеньевич
Романовский,
Григорий Яковлевич
Левенфиш,
Илья Леонтьевич
Рабинович.
Ленинград, 30-е годы.

Кроме меня и приятеля моего Юры Борисенко там училось немало сильных шахматистов. Помню в середине 30-х годов к нам после выигрыша какого-то сильного турнира приехал с отчетом молодой Ботвинник. Тогда это практиковалось. Мы сразу к нему – что-нибудь на шахматах посмотреть. А он нам: учите, учите, ребята, иностранные языки, без них – беда. Прав, всегда прав Михаил Моисеевич...»

Однажды, впрочем, он пытался получить информацию на иностранных языках, надеясь услышать только одно имя – Фишер. Это было в ночь на первое апреля 1975 года под Москвой, где они с Карповым готовились к матчу на первенство мира. В этот день истекал срок подачи официальных заявок в ФИДЕ. Но имя Фишера в эфире так и не прозвучало, а еще через два дня Эйве официально объявил Карпова чемпионом мира.

Тот же транзисторный приемник помогал Сёме переносить одиночество, которым он всегда тяготился. Направление, протянувшееся от древних к Шопенгауэру и Ницше, проповедующее одиночество, но и требующее немалого внутреннего потенциала, было ему совершенно чуждо. Лучше всего Сёма чувствовал себя в дружеской компании, а диалоги с самим собой заменял ему транзистор, который всегда был с ним, вплоть до последних больничных мартовских дней 1978 года.

«Зачем? – искренне удивился Сёма, когда я предложил ему почитать что-нибудь из запрещенного тогда в Советском Союзе, – у меня же радио есть, я и так в курсе дела». Он фактически ничего не написал, за исключением разве что теоретических обзоров в шахматные издания, следуя неосознанно здесь, как, впрочем, и в жизни, пифагоровской заповеди: говори мало, пиши еще меньше. Но вижу его низко склонившимся над листом бумаги и, прищурясь, вглядывающимся в текст партии (Сёма был очень близорук), дабы переписать его характерным почерком.

Так тогда делали все, в то недавнее и такое далекое докомпьютерное время. У каждого были тетради с анализами, разработками или просто важными партиями, переписанными от руки. Помню такие и у Каспарова времен одного из его первых международных турниров в Тилбурге в 1981 году. Конечно, трата времени была ужасающая; теперь и партии, и варианты могут быть вызволены из базы данных при помощи одного пальца, а сэкономленное время можно посвятить анализу, поручить это ком-

пьютеру или совместить оба эти занятия. Но все же время, ушедшее тогда на восстановление, сверку и даже переписку вариантов, не кажется мне потраченным совершенно впустую: так монахи средневековья, переноса священные писания на пергамент или бумагу, пропускали их через голову и сердце, прочнее сохраняя тексты в памяти.

Помню Сёму еще за одним его ритуалом: тщательно изучающим последнюю страницу газеты «Известия», где время от времени публиковался курс валют. Он, выезжавший за границу, знал, конечно, всю искусственность приводимых там соотношений. Рубль был неконвертируемой валютой, делая не такой уж недалекой от истины ходившую тогда шутку: в одном долларе – фунт рублей. Мне кажется, что ему просто доставляло удовольствие чтение красивых слов: гульден, крона, драхма или песо. Расходовать валюту за границей следовало экономно, дабы купить что-то, чего попросту не было в Советском Союзе, а таких вещей было немало. Корчной вспоминал, как Фурман, будучи на турнире где-то в Скандинавии, каждое утро покупал жареную курицу, стоившую тогда один доллар, которую и съедал потихонечку в течение дня. В этом не было ничего позорного или необычного, я знал многих спортсменов и музыкантов, неделями во время зарубежных поездок питавшихся захваченными из дома консервами или копченой колбасой. Возвратившись из-за границы, валюту следовало обменять на сертификаты или чеки, существовали специальные магазины, где товары, главным образом иностранные, можно было купить только на них. «Там каждый магазин как у нас сертификатный, только лучше», – объяснял один вернувшийся с иностранного турнира гроссмейстер своим приятелям, никогда не бывавшим на Западе. Мне кажется, что для Сёмы, как и для многих тогда из Советского Союза, весь Запад выглядел как один большой сертификатный магазин. Он вырос вместе с понятиями стахановец, субботник, политинформация, характеристика, невыездной и многими другими, совершенно неизвестными на Западе и умершими вместе с государством, их создавшим. С другой стороны, он, вследствие сравнительно частых, особенно в последние годы, выездов за границу и регулярного слушания иностранного радио, был знаком, пусть только внешне и поверхностно, с жизнью другого мира. Два мира этих легко уживались в нем, не вызывая противоречия; он принимал их как данное, как что-то

само собой разумеющееся, четко проведя границу между одним и другим.

Более того: скепсис и ирония по отношению к стране, где он жил, сочетались у него, как и у многих тогда в Советском Союзе, с изрядной долей патриотизма.

В декабре 1971 года я помогал Корчному во время большого международного турнира в Москве. Фурман был там же в качестве тренера Карпова, и мы с Сёмой прожили все две недели в одном номере гостиницы. Тогда это считалось в порядке вещей: Спасский вспоминает, что даже во время матча на мировое первенство с Петросяном он делил комнату со своим тогдашним тренером Бондаревским: «Уж такое было время, – это я потом многое стал понимать, что значит *privacy*, как это важно...»

Москва тогда не была лучшим местом для вечерних и ночных развлечений. Поэтому часам к десяти в наш номер, считавшийся своего рода нейтральной территорией, собирались бриджисты: покойный Штейн, Горт, Парма, изредка Ульянов, Корчной, иногда заглядывал Карпов. Сёма, разумеется, присутствовал всегда. Я обычно лежал на кровати, что-нибудь читая, время от времени поднимая голову на шум – следствие жарких дебатов, разгоравшихся за карточным столом по поводу несыгранной игры или неверно сообщенной информации при заключении контракта.

Расходились обычно часам к трем, а то и позже. Сёма открывал форточку – накурено было до невозможности, и, возвращаясь к реальному миру и замечая меня, задавал всегда один и тот же вопрос: «Ну, Геннадий, что нового в мире?» Он так звал меня всегда – моим полным именем. Слегка потупясь, я отвечал: «Как же я могу знать, что нового в мире, Семён Абрамович, ежели машина бездействовала». «Это мы сейчас», – говорил он и, низко склоняясь над светящимся табло, начинал настраивать транзистор на нужную волну. Пробираясь сквозь шум глушилок, он приговаривал: «Интересно, чем сегодня порадует нас Анатолий Максимович». Сёма имел в виду Анатолия Максимовича Гольдберга, комментатора Би-Би-Си, исключительно популярного тогда в кругах подпольных радиослушателей. Если ему удавалось добиться более или менее сносного звучания, он предлагал: «Ну что, по последней?» Мы закуривали по сигарете, нередко оказывавшейся предпоследней, и я, усаживаясь поближе к приемнику, говорил:

«Есть обычай на Руси – ночью слушать Би-Би-Си!» – «Не мешай, не мешай, дай же послушать», – призывал меня к порядку Сёма – он относился серьезно к этому ночному ритуалу.

Я не мог предполагать тогда, что двенадцать лет спустя передам свой первый репортаж о матче Каспаров – Корчной из студии Би-Би-Си в Лондоне на Советский Союз. Хотя Сёмы тогда уже не было в живых, видел его хорошо среди моих воображаемых слушателей, когда прибегал к своей любимой формулировке: «Как знают, вероятно, любители шахмат в Советском Союзе», – после чего сообщался факт, который они не знают и знать не могут.

«Вы, Семен Абрамович, вчера опять всю ночь в карты играли – выговаривал ему иногда Карпов, – я слышал, как Горт в три часа к себе вернулся, его комната рядом с моей». – «Во-первых, мы в четверть третьего уже разошлись, – слабо защищался Сёма, – а, во-вторых, откуда я могу знать, почему Горт пришел к себе в три часа ночи». – «А то, что вы курите безбожно и диеты не соблюдаете – это как?» – продолжал Карпов. «Как же, Толя, я диеты не соблюдаю, когда я вчера грейпфруты купил, вот еще два на подоконнике лежат». – «А то, что в отложенной партии с Ульманом...» – не сдавался Толя. Я выходил из комнаты, спрашивая себя, кто же из них, собственно, старше на тридцать с лишним лет.

Мы сыграли с Фурманом две партии уже после моего переезда на Запад; в обеих у меня были белые – здесь я сам чувствовал себя Фурманом. Помню его блеснувший из-под очков взгляд, когда в первой из них в Вейк-ан-Зее в 75-м году я применил новинку на восьмом ходу, фактически опровергающую весь вариант. Выиграть партию, впрочем, мне не удалось, равно как и другую в Бад-Лаутерберге два года спустя, где он добровольно пошел на позицию с изолированной пешкой в дебюте. Мне казалось, что так играть нельзя, но, потратив много времени и так ничего не добившись, я предложил ничью. Парируя во время анализа мои попытки доказать преимущество белых, Сёма изрекал свое обычное: «Чудак, я же работал, анализировал этот вариант, – добавляя – не горячись, посмотри внимательно, здесь же у черных активная игра».

Там же в Бад-Лаутерберге мы гуляли неторопливо по утрам в

парке, разговаривая о том и о сём. Иногда к нам присоединялся Либерзон. Всякий раз, увидев Фурмана, он издавал радостный крик: «Там, где Сёма, – там победа!» Они давно знали друг друга, встречаясь на всесоюзных и армейских соревнованиях еще в Советском Союзе. «Ну, что, Сёма, – начинал обычно свою речь Либерзон, – как там наша родная советская власть?» Здесь он обычно не брезговал крепким словом. Чаше же уходил в воспоминания о прошлом, в котором всегда есть что-то абсурдное, особенно когда прошлое это относилось к Советскому Союзу. Либерзон уехал оттуда в Израиль только четыре года назад, и прошлое для него еще не стало прошедшим окончательно, чтобы обрести свою безоговорочную прелесть. Сёма поднимал и опускал брови, подавал время от времени реплики или начинал сопеть, что являлось предвестником начинающегося смеха, шедшего заразительными перекатами, нередко с подачей головы вперед. Редкие прохожие в парке провинциального немецкого городка с неодобрением оборачивались на нас.

Внешне Сёма выглядел старо: лысина его расширилась, еще более подчеркнув немалых размеров лоб, оставшиеся волосы почти все были седы, походка стала еще более степенной, но душой он был по-прежнему юн. По Солону, лучшая пора в жизни мужчины – от тридцати пяти до пятидесяти шести лет. Если бы Солон был знаком с профессиональными шахматами конца второго тысячелетия, то, вероятно, думал бы по-другому, но во время того турнира Фурману и было пятьдесят шесть, и играл он еще очень энергично, и занял в турнире третье место, обогнав многих известных гроссмейстеров.

Выиграл же турнир Карпов, опередивший Тиммана на два очка, и вообще доминировавший тогда в шахматном мире. Было очевидно, что сотрудничество Фурмана с Карповым оказалось очень плодотворным для обоих. Сам Фурман сказал как-то: «При нем я предельно мобилизуюсь, играю лучше. Не тот авторитет у меня будет, если выступлю неудачно. Как потом стану ему давать советы?»

Однажды я присутствовал при их совместном анализе отложенной позиции. Они были вместе уже десять лет и понимали друг друга с полуслова, но и в житейском смысле они притерлись друг к другу, как супруги после десятилетнего совместного проживания. Зайдя в том же Бад-Лаутерберге к простудившемуся слегка Фурману, я застал у него Карпова.

«Семен Абрамович у нас, – говорил он, глядя в пространство, – сначала чая горячего напьется с медом, потом на улицу выходит, на ветер, а теперь вот жалуется, что простудился, было бы странно, если бы он не простудился».

«Во-первых, я не сразу вышел, а обождал немного, во-вторых, я же, Толя, шарф шерстяной надел», – оправдывался Семен Абрамович.

«Он думает, что если он шарф шерстяной надел»... – продолжал Толя, и я снова спрашивал себя, кто же в действительности старший из них двоих.

Это был его последний турнир, и последний раз, когда я видел его.

Алла Фурман: «Может быть, если бы не было этой нервотрепки, бессонных ночей, если бы он больше следил за собой, не курил так отчаянно, все могло и обойтись. Он жил так, как будто смерть его не касается, не допуская никаких разговоров о болезнях, что этого – нельзя, того – нельзя... Он делал все, что ему нравится...».

Бессознательно Сёма жил, следуя правилу Ницше, полагавшему, что секрет извлечения наибольшего удовольствия из существования прост: жить с наибольшим риском для жизни самой, жить на грани пропасти.

Анатолий Карпов: «За три недели до смерти я был у него в Мечниковской больнице. Он шутил, смеялся, строил планы на матч с Корчным, какие дебюты играть, как и что... Он не знал тогда, что он безнадежен, да и я, признаться, тоже не знал».

Семен Абрамович Фурман умер 16 марта 1978 года.

Несмотря на то, что жизнь его не получилась длинной, мне думается, что она удалась. Применимый к нему обычай древних фракийцев – после каждого счастливо прожитого дня класть белый камешек, а несчастливо – черный и после смерти подсчитывать, какой получилась жизнь, дал бы, мне кажется, однозначный результат. Белый цвет, так любимый им в шахматах, очевидно, преобладал бы.

Матч на первенство мира Карпова с Корчным начался через несколько месяцев после его смерти. Без сомнения, Фурман понимал, побывав в Белграде на финальном матче претендентов и видя

мощную игру Корчного вблизи, что легкого матча не будет. Как чувствовал бы он себя, когда на Корчного в Багио, помимо реальной и огромной силы его соперника, обрушилась вся мощь государственной машины, частью которой ему, так или иначе, предстояло бы стать?

Любитель информации, он наверняка знал, что в январе 1978 года 14-летний худенький мальчик из Баку выиграл первую партию в жизни у гроссмейстера и свой первый взрослый турнир в Минске. Но он не мог знать, что этот мальчик семь лет спустя отберет у его ученика чемпионский титул и будет единолично править в шахматном королевстве в течение пятнадцати лет.

Какой совет он дал бы Карпову сейчас? Стараться не попадать в цейтнот? Поменьше тратить время на марки, из-за чего Сёма ворчал на своего ученика и в лучшие времена? Увеличить объем тренировок, больше доверяя компьютеру? Или просто повторил бы сказанные в свое время слова польского мастера Пшепюрки: «Почему я играю хуже? Потому, что старею. Молодые, на арену!»

Июль 1999

МАЭСТРО

В конце 50-х годов началась эра Михаила Таля – сначала выигрыши чемпионатов Советского Союза 57 – 58-х годов, межзонального турнира, турнира претендентов, наконец, победа над Ботвинником в матче на первенство мира в 1960 году. Постоянным тренером Талья и его секундантом на всех этих соревнованиях был Александр Кобленц.

Я впервые увидел его ранней весной 1968 года, когда приехал в Ригу по приглашению Талья помочь ему в подготовке к четвертьфинальному матчу на первенство мира с Глигоричем. После этого я бывал в Риге неоднократно и каждый раз, разумеется, виделся с Кобленцем. Официально он был тогда еще тренером Миши, хотя после талевского пика в 1960 году прошло восемь лет и отношения между ними уже не были столь безоблачными. К моему приезду Кобленц отнесся настороженно. Скорее он рассматривал его как очередное чудачество Миши, который и так в последнее время отбился от рук – несколько лет, проведенные им в Москве после проигрыша матч-реванша Ботвиннику, не прошли даром: пьет ужасно, курит несколько пачек в день, очередная новая подруга, вот еще и этот подозрительный камень в почках, требующий регулярного приезда «скорой помощи» и обязательной инъекции морфия. Теперь еще какой-то неизвестный молодой мастер из Ленинграда. Короче говоря, Миша совершенно не слушает своего старого тренера, который начал регулярно заниматься с ним, когда Мише было двенадцать лет, поражая его уже тогда удивительной реакцией и необыкновенной быстротой расчета.

Скоро, впрочем, когда мы познакомились ближе, Кобленц понял, что я совсем не пытаюсь встать между ним и Талем, и между нами установились раз и навсегда теплые, дружеские отношения.

Миша всегда называл его – Маэстро, через некоторое время так же стал называть его и я. Обычно Маэстро приходил к Мише домой, где мы работали, часам к трем, спрашивал, что мы смотрели сегодня, иногда сам принимал участие в анализе, но большей частью его появление означало игру блиц на высадку. Это был, конечно, эвфемизм, потому что в подавляющем большинстве случаев менялись мы с Маэстро. «Ведь, правда, интересант-

ный ход, Маэстро?» – спрашивал Миша, осуществляя необычный маневр в дебюте и лукаво поглядывая на меня. «Интересантный, интересантный», – отвечал Маэстро, чувствуя какой-то подвох, но не зная, в чем он заключается. Родным языком его был немецкий, хотя по-русски он говорил очень хорошо, разве что с легким акцентом. Проскальзывавшие иногда ошибки в словах приходились на похожие в немецком, что, как известно, создает именно из-за этой внешней похожести особую трудность. Изредка он переспрашивал: «Пожалуйста?», – что является дословным переводом с немецкого «Bitte?» и чего никогда не скажет человек, родным языком которого является русский.

«Сами, девки, знаете, чем заманиваете», – сообщал Миша, слишком оптимистично жертвуя коня на g7. Если же ресурсов атаки не хватало, приговаривал, поглядывая на поднимающийся флажок на часах Маэстро: «Ничего страшного, сейчас мы будем делать ему завальнюк».

«Подожди, подожди, я тебе сейчас сделаю савальнюк», – отвечал Маэстро, с особой энергией делая ходы, казавшиеся ему наиболее сильными. Если же стрелка на его часах все же падала, Миша щелкал немалых размеров ногтем мизинца по стеклу циферблата часов Маэстро или объявлял: «Покойничка знали лично!» – легкими прикосновениями вверх и вниз отряхая ладони. Маэстро, понимая, что сердиться было бы глупо, разводил руками и, поворачиваясь ко мне, говорил, улыбаясь: «Ну, что ты с ним будешь делать...» После игры Кобленц иногда пытался пустить разговор по серьезному руслу: «Мишенька, мне вчера опять звонили из Спорткомитета и спрашивали, когда же ты...» – «Знаю, знаю, – отвечал Миша, – на следующей неделе я зайду обязательно...» – «Да, но ведь ты так говорил еще на прошлой неделе». – «На днях зайду непременно, а вы посмотрите лучше, какую прелестную идею в испанке мы сегодня обнаружили...»

Иногда мы уходили с Маэстро вместе и от улицы Горького, где жил Таль, поворачивали на Лачплеша, а потом – направо, на улицу Ленина, которая во время войны называлась, разумеется, Адольф Гитлерштрассе, а теперь, стряхнув с себя оба названия, пытается укрепиться в своем старом: улица Свободы. Речь держал Маэстро; обычно он жаловался на Мишу, его образ жизни, непрактичность, беззаботность, безалаберность. Впрочем, скоро он переходил на текущие заботы, а их было немало. Энергия все-

гда бурлила в нем, и планов у него было множество: подготовиться к традиционному матчу с Литвой и Эстонией, обязать Мишу регулярно заниматься с молодыми и, в первую очередь, с талантливым Витолиньшем, подготовить редакцию новой книги на латышском языке, оформить через Москву договор о переводе другой книги на испанский. Не говоря уже о многих практических делах: закончить ремонт клуба, наладить производство шахматной атрибутики и магнитных шахмат, арендовать маленький автобусик для регулярных поездок в соседнюю Литву, где цены на продукты много ниже местных. Коричневый, отличной выделки кожаный портфель, который был всегда при нем, покачивался в такт его упругому шагу. На улице с ним нередко здоровались, Маэстро был заметной фигурой в Риге, что и говорить, – тренер национального героя.

Когда мы доходили до перекрестка, Маэстро предлагал: «Может быть, зайдешь ко мне на минуточку?» Шахматный клуб в самом центре Риги был его особой гордостью. Мы поднимались на третий этаж, в клубе еще пахло свежей краской, но вдоль стены уже протянулся транспарант: «Шахматы – это гимнастика ума. В.И. Ленин». Лозунг этот можно было встретить почти в каждом клубе Советского Союза. Цитату эту, впрочем, трудно найти даже в полном собрании сочинений Ленина. Неудивительно: придумал ее известный советский шахматный деятель Яков Герасимович Рохлин, умерший несколько лет тому назад. Ленин, действительно любивший шахматы, иногда играл в них в сибирской ссылке и в годы эмиграции. Как бы то ни было, находка была замечательная, проверять подлинность этой фразы никто не удосужился, звучала она очень по-ленински и немало способствовала развитию шахмат в стране, особенно в самые первые десятилетия советской власти.

«Заходи, заходи, – приглашал Маэстро, распахивая двери директорского кабинета, – располагайся...». «Что же вы такое повесили, Маэстро, мало вам надписи при входе, так теперь и здесь», – говорил я, показывая глазами на висевший над его директорским креслом барельеф Ленина, сделанный из дерева и, надо признать, весьма искусно. Маэстро нравились мои ремарки, хитрая улыбка появлялась на его лице, но он, хотя мы в кабинете были только вдвоем, вздыхал с притворным осуждением: «Ну, что с него взять, одно слово – ленинградская шпана». И, меняя тему разговора: «Геня, что ты делаешь сегодня вечером?» Он всегда

называл меня так, сильно смягчая последнюю гласную, что придавало имени почти ласкательный оттенок. «Ах, с Мишей в ресторан, – оригинально, оригинально, можно подумать, что вчера вы были в библиотеке». И Маэстро сокрушенно качал головой... Ему было тогда пятьдесят два года, и выглядел он очень импозантно: выше среднего роста, статная фигура, быть может, чуть полноватый, но всегда подтянутый, всегда в костюме и при галстуке.

Крупное лицо, высокий лоб, зачесанные назад волосы с легкой проседью, выдающийся, с заметной горбинкой нос, полные губы – он напоминал какое-то редкое животное. Улыбка, часто появлявшаяся на лице, полностью преображала его. Хитринка, спрятанная в широко расставленных глазах, постепенно захватывала все лицо, и Маэстро превращался в ученика немецкой рижской гимназии Алика Кобленца.

Он родился в Риге 3 сентября 1916 года в зажиточной еврейской семье. Дома говорили на идиш, но образование Кобленц получил классическое; немецкий был его самым сильным языком. Его отец, лесопромышленник, хотел, конечно, чтобы сын после окончания гимназии продолжал учебу, и потом, кто знает, перенял дело, но у молодого Кобленца на уме уже было другое: в двенадцать лет он случайно обнаружил на книжной полке шахматный учебник Дюфрени.

Разумеется, когда он решил посвятить жизнь шахматам, отец был против. «Он поведал мне о переживаниях своего знакомого лесопромышленника Исая Нимцовича, с которым встречался раньше на рижской бирже, – вспоминал позднее Маэстро, – его сын Арон просиживал целыми днями в биржевом кафе, играя с любителями на ставку. Исая послал сына учиться в Цюрихский университет, но тот забросил учебу, избрав путь шахматного профессионала. Мой отец слышал, как коллеги, стараясь уязвить старика Нимцовича, говорили ему при встрече: «Как это у вас, господин Нимцович, в уважаемой семье появился такой босяк?»

Действительно, решение, принятое молодым Кобленцем в то время: сойти с накатанной, традиционной дорожки, стать шахматным профессионалом, было не менее рискованным, чем в наши дни. Уже в конце жизни Маэстро писал: «Запоминаются преграды, которые всегда встают на пути энтузиаста, предостерегающие голоса близких – не витай в облаках, а главное – советы из-

брать «солидную» жизненную дорогу. «Вы, молодой человек, собираетесь посвятить шахматам всю жизнь?» – спросил меня Милан Видмар на Олимпиаде в Варшаве в 1935 году. Получив молниеносный утвердительный ответ, он посмотрел на меня задумчивым взглядом и произнес: «Ну, смотрите...».

В основе решения свернуть с проторенного пути и самому определить свою судьбу у молодого Кобленца лежала любовь к шахматам, к самому процессу игры. Но и не только. Свою первую шахматную книгу на латышском языке он начал писать, когда ему было девятнадцать лет, во время работы над последней его застала смерть.

Решение его означало еще кое-что: независимость и свободу, поездки в разные страны Европы из маленькой Латвии и встречи с интересными людьми. В августе 1935 года Кобленц стоял перед выбором: играть в международном турнире в Хельсинки или поехать корреспондентом рижской газеты в Амстердам, чтобы освещать матч на первенство мира между Алехиным и Эйве. Он не колеблясь выбрал Голландию, и решение это во многом определило его дальнейшую судьбу: он не только играл в турнирах, но и писал о шахматах.

Латвия была тогда независимым государством, и шахматиста и шахматного журналиста Кобленца видели не только Амстердам, но и Гастингс, Лондон, Мадрид, Варшава и Милан. Надо ли говорить, что знание Кобленцем многих языков делало эти частые поездки только еще более приятными. Он видел вблизи и разговаривал с Мизесом, Тартаковым, Капабланкой, Шпильманом, Эйве, был хорошо знаком и не раз интервьюировал Ласкера. Молодость, считающаяся лучшей порой жизни, вероятно, оттого, что об этом совсем не думаешь, в его случае была наполнена встречами со многими замечательными людьми в различных городах Европы. Он подолгу жил в Испании, а в 1939 году более полугода провел в Лондоне, днями просиживая в шахматном кафе «Гамбит» на Кэннон-стрит. Игра на ставку, бессонные ночи, зыбкое существование, но зато любимая игра и свобода, и будущее, о котором не задумываешься и у которого нет конца. Много лет спустя, когда я разговаривал с ним, он, пожалуй, единственный из всех, кого я знал в Советском Союзе, не называл иностранцев в третьем лице множественного числа – в своей прошлой жизни он тоже был одним из них.

Я думаю, что этой прошлой жизнью объясняется также странное, на первый взгляд, хобби Пауля Кереса. Именно: он на память знал время отправления, номера рейсов, названия компаний и возможности стыковки самолетов, вылетающих из Лондона в Мадрид, из Амстердама в Париж или, к примеру, из Стокгольма в Берлин. Только ли демонстрация памяти, обернутая в необычную упаковку? Мне представляется, что названия эти были для него не столько воспоминанием о молодости, как о времени, когда попадание в эти точки Европы было вопросом только перемещения в пространстве, чего он оказался лишен после того, как Эстония стала одной из республик Советского Союза.

В 1940 году в Латвию вошли советские войска, через год страна была оккупирована Германией. Кобленцу удалось уйти на восток, его мать и сестры погибли в рижском гетто...

Марк Тайманов познакомился с ним в 1943 году на пароходе, который шел из Красноводска в Баку: «Кобленц в каких-то немыслимых гольфах, шляпе борсалино, с ульмановским паспортом, на корешке которого красовался герб, очень похожий на свастику, являл собой живописное зрелище. Время, однако, было военное, и он мог иметь массу неприятностей». Маэстро сам так впоследствии описывал этот эпизод: «Молоденький лейтенант при проверке документов держал в руках мой паспорт с лондонскими и барселонскими визами, слышал мой акцент, и по его загоревшемуся взгляду я видел, что мысленно он уже примеряет орден Красной Звезды к своей гимнастерке за поимку важного шпиона. По счастью, у меня оказалась с собой газета «Советский спорт», где мое имя значилось в списке новых советских мастеров».

Почти всю войну Кобленц провел в Самарканде, где зарабатывал себе на жизнь, давая сеансы одновременной игры в госпиталиях, но главным образом – выступлениями в концертах.

Пением Маэстро начал заниматься еще в Риге, а в 1938 году провел некоторое время в Милане, где играл в турнире, дабы взять несколько уроков у знаменитых учителей бельканто. У него был довольно приятный тенор, и неаполитанские песни остались в его репертуаре с тех времен. Маэстро пел впоследствии для своих друзей или на официальных церемониях закрытий турниров, делая это всегда с большим удовольствием. Но самый шумный успех его приходится именно на то военное время, когда он, не впол-

не владея тонкостями русского языка, в неаполитанской песенке вместо слов «Ах, зачем ты тогда зарделась?» пропел: «Ах, зачем ты тогда разделась?» Номер пришлось повторить на бис...

После войны Кобленц вернулся в Ригу. Ему было уже почти тридцать; именно на этот период приходится пик его, как шахматиста-практика. В 1945 году он выходит в финал первенства Советского Союза, что уже само по себе являлось немалым достижением. Назову несколько имен, чтобы дать представление о силе турнира: будущий победитель его – Ботвинник, Смыслов, Болеславский, Бронштейн, Толуш, Котов. Но уже полуфинал первенства, где наряду с несколькими гроссмейстерами играли опытные мастера, был очень сильным турниром. «Для меня полуфинал – это финал», – говорил тогда один совсем не слабый мастер.

В те же годы Кобленц выигрывает несколько раз чемпионаты Латвии. Он – довольно сильный мастер, с интересными идеями в дебюте и явным тяготением к тактической игре. Без всякого сомнения, соперники его, воспитанные на партиях Чигорина и Ботвинника и изучавшие уже шахматы как науку, смотрели несколько скептически на его игру и весь подход к шахматам, основанный больше на вдохновении, озарении и бесконечных партиях блиц в шахматных кафе Лондона, Вены и Мадрида. Да и сам он: легкий акцент, постоянная улыбка на лице, открытость, доброжелательность, галстук, платочек в кармане пиджака – все это как-то не вписывалось в суровую обстановку послевоенных лет.

В 1946 году на турнире в Ленинграде Кобленц в одной из партий попал в цейтнот. Маэстро, полагая, что они с соперником делают одно общее дело, только он попал в маленькую неприятность, которую им обоим следует преодолеть, очень нервничал, не зная сколько ходов следует сделать до контроля времени. «Четыре» – помог ему противник – сама любезность. Когда ходы были сделаны и Маэстро перевел дух, соперник его после падения флага, не дожидаясь вмешательства судьи, холодно констатировал: «Я ошибся, надо было сделать пять ходов, вы просрочили время». – «Вы поступили не как джентльмен», – укоризненно заметил Маэстро. «Что вы имеете в виду?» – строго спросил директор турнира, находившийся рядом и наблюдавший всю сцену. Сообразительный Маэстро, уже проживший несколько лет в Советском Союзе, с честью вышел из положения: «Я имел в виду, что он по-

ступил не как советский джентльмен», – ответил он. Хотя время было уже послевоенное, никогда нельзя было знать, как и кем будут истолкованы слова, сказанные тобой. Неосторожные высказывания в начале войны стоили замечательному рижскому гротескмейстеру Владимиру Петрову, которого Маэстро хорошо знал, ссылки в сибирский лагерь и жизни.

После войны Маэстро поселился в квартире дома, который до 1940 года весь принадлежал его семье. Что он чувствовал при этом? Ведь еще древние знали: разные вещи – чего-то совсем не иметь или имея – потерять. Ведь не получить вовсе – не страшно, но лишиться того, что имел, – обидно.

Марк Тайманов бывал тогда у него в Риге почти каждый год: «Квартира была наполнена книгами на разных языках, они лежали всюду: на подоконниках, в коридоре, на кухне. Сам хозяин был в высшей степени обаятелен и обладал натурой весьма артистической. Он был вполне европейским человеком, у него не было никаких акцентированных восприятий своего иудейства, но в конце каждого разговора, о чем бы ни шла речь, Алик всегда спрашивал: «Скажи, а как это отразится на рижских евреях?»

В конце 40-х годов встреча с худеньким мальчиком с пронзительными черными глазами определила жизнь Маэстро на долгие годы. Мальчика этого звали Миша Таль. Он стал бывать у Кобленца дома, на даче, занятия стали регулярными, длящимися зачастую по многу часов. Уже тогда было видно острое комбинационное зрение, молниеносный расчет вариантов, а главное – самозабвенное увлечение шахматами. Я думаю, что эти годы, вплоть до завоевания Талем в 1960 году звания чемпиона мира, были наиболее плодотворными и счастливыми в жизни Кобленца. Свою роль наставника в отношениях учитель – ученик он видел очень хорошо, ссылаясь не раз на Генриха Нейгауза – учителя выдающегося Святослава Рихтера: «Гениев нельзя создать – только почва для их развития».

Функции тренера и наставника постепенно расширились до советчика, спарринг-партнера, секунданта, психолога и менеджера. Но в первую очередь Маэстро был мишиным преданным другом.

Василий Смыслов: «Кобленц очень любил Мишу и всегда, а я видел их вместе на многих турнирах, искренне переживал за него и поддерживал всячески, а это уже немало».

Он был для Таля в каком-то смысле отцом или дядькой, в похожем качестве находились в свое время Толуш и Бондаревский у Спасского. Последнего Спасский так и называл – Father. Тот факт, что Толуш и Бондаревский были гроссмейстерами высокого класса, а Кобленц только мастером, я думаю, не играл столь большой роли. Мне кажется, что такого рода контакт, живой, человеческий очень важен для молодого человека не только на пути к мастерскому или гроссмейстерскому званию, но и после этого, несмотря на то, что любая информация сегодня легко находится и обрабатывается при помощи компьютера. Здесь напрашивается аналогия с музыкой. В настоящее время не представляет никакого труда получить не только звуковое воспроизведение, но и изображение выдающихся музыкантов современности. Тем не менее популярность мастер-классов, когда непосредственное индивидуальное общение помогает не только понять и исправить, но и вдохновить, только возрастает. Отсутствие такого постоянного контакта всегда было заметно, как мне кажется, в игре даже самых сильных шахматистов Запада, которые учились в основном друг у друга, а теперь еще и у компьютера, и являлось тормозом на пути к их дальнейшим успехам.

Я думаю, что Кобленц был хорошим тренером для Таля, даже когда в середине 50-х годов ученик в практической силе превзошел своего учителя, а потом и хорошим секундантом, что не одно и то же. Его обаяние, постоянная улыбка и шутка, где-то сознательная игра под простачка, подхваченная и поддерживаемая Мишей фраза «если у Таля есть открытая линия – мат будет», что, кстати, в те времена чаще всего и случалось, понималась многими, и журналистами в первую очередь, буквально или иронически обыгрывалась. Они видели отношения Кобленц – Таль только на людях, только в шутках, подтруниваниях, не зная и не догадываясь о большой черновой работе и о внутренней гармонии между обоими.

Когда Таль показывал красивую комбинацию или просто при совместном анализе, Маэстро восклицал нередко: «Миша, ты играешь гениально!» В ответ на что Миша принимал жеманно-кокетливую позу и, махая ручкой, говорил: «Сам знаю!» Действо это, совершённое неоднократно при зрителях и журналистах, создавало образ этакого льстеца-затейника, каким Маэстро не был, отодвигало на второй план их серьезную совместную работу. Даже

в шутке Ивкова тех лет: «Знаете, как Кобленц тренирует Таля? Он целый день твердит подопечному одно и то же: «Миша, ты играешь гениально!» можно найти перепевы этого их совместного образа. Маэстро пропускал все мимо ушей, но иногда все же, задетый за живое, вступал в полемику с журналистами, забывая мудрое правило Дизраэли: «Never complain, never explain».

В семье Талей Кобленца называли иногда Алик-недурак, слова, услышанные от взрослых, обсуждавших какой-то поступок Маэстро, пятилетним сыном Таля – Герой и повторенные им в присутствии самого Кобленца. Многие видели в нем хитрого ловкача, вытянувшего выигрышный номер в лотерее, не понимая, что в чем-то и он, и Миша вытянули один общий номер.

По мере того, как росли успехи Таля, и особенно после того, как он в двадцать три года стал чемпионом мира, кое-кто стал смотреть на него, как на мага, который может превратить любую позицию в выигрышную при помощи волшебной комбинации. Представления эти о шахматах полностью вписывались в вопрос, заданный мне в Нью-Йорке в свое время Андреем Седых, редактором русской эмигрантской газеты: «Помню, в Париже в 1924 году на Всемирной выставке один молодой человек так ловко в шашки играл – поддаст четыре, а возьмет девять, возможно ли такое в шахматах?», вынудив меня ответить: «Ну, если как следует подумать...» Начиная с момента их наивысшего триумфа – завоевания Талем звания чемпиона мира, отношения между ним и Кобленцем менялись, и зачастую резко. Я сам не раз был свидетелем в Риге и Москве в конце 60-х годов, когда Маэстро выговаривал за что-либо Мише, и, надо признать, почти всегда за дело, в ответ на что Миша отделялся шуточкой или закуривал очередную сигарету.

Серьезные разговоры в присутствии других просто не допускались, в этом случае Миша мог неожиданно спросить, к примеру: «Маэстро, как, собственно, началась в Испании гражданская война?» Маэстро, застигнутый врасплох, пытался было защищаться: «Но я ведь уже это рассказывал». – «Я не помню, – лукавил Миша, а вот Гена так вообще не знает». – «Ну, хорошо, – покорно соглашался Маэстро, – это было в 1936 году, я жил тогда уже полгода в Испании, ах, что за жизнь была тогда». Здесь Маэстро вздыхал. «Бандерильи, кастаньеты и махи обнаженные?» – пытался отвлечь его Миша. «Я уже довольно хорошо говорил по-испански

и играл в различных маленьких турнирах, – не уходил в сторону Маэстро, – а в июле оказался в Барселоне, где должен был состояться международный турнир. Помню, что все были уже в сборе, кроме Алаторцева, приезд которого ожидался. Вечером участники турнира расположились за большим столом в ресторане...» – «За стаканчиком кефира?» – спрашивал Миша. «После ужина кто-то принес часы, мы блицевали, пили вино...» – «Ага», – снова встретил Миша. – «... и засиделись допоздна», – продолжал Маэстро, не обращая на него никакого внимания. «И вдруг под утро, когда мы уже решили расходиться, поднялась такая стрельба, такая стрельба». – «И что же это было?» – помогал Миша, уже не раз слышавший эту историю. «Так началась в Испании гражданская война», – заканчивал Маэстро заученным голосом. Он играл предложенную ему роль, зная хорошо, что если они с Талем не были вдвоем, ни серьезного разговора, ни серьезного анализа получить не может.

Конечно, оттенки их отношений во многом определяла страна, создавшая свои правила игры. Бывало всякое. Но по большому счету их, знавших друг друга фактически всю жизнь, ничто не могло разделить. И Кобленц всегда оставался для Таля любимым Маэстро, а тот для него – Мишенькой, начиная с того момента, когда он впервые увидел его маленьким мальчиком в 1948 году, и до последних минут в июне 1992 года, когда он начинал, но так и не смог из-за нахлынувших слез сказать последние слова прощания на похоронах Таля.

Работой с Талем не ограничивалась деятельность Кобленца. Он любил шахматы во всех проявлениях – принимал участие в создании журнала «Шахс» на латышском и русском языках, выходившего огромным для шахматного журнала тиражом – 68 500 экземпляров, был тренером сборной Латвии, директором республиканского шахматного клуба, не говоря, разумеется, о большом количестве книг, им написанных.

Но неправильно было бы думать, что Маэстро был таким альтруистом, забывающим за работой о своих собственных интересах; энтузиазм, восторженность и энергия сочетались в нем с практической жилкой и трезвым подходом к жизни.

Я думаю, что попади Маэстро на один из островов в Тихом океане, то уже через пару лет там был бы проведен первый шах-

матный чемпионат, была бы готова смета и для командного первенства, функционировали бы детские шахматные школы и Высшая школа мастерства, где сам Маэстро читал бы лекции; был бы взят на заметку и особенно смысленный мальчик с жесткими курчавыми волосами. Остатки лавы давно потухшего вулкана служили бы прекрасным сырьем для производства шахматных фигур, и оно уже налаживалось бы. Сам Маэстро был бы вхож к главе администрации острова, который тоже был бы обучен игре, более того – небольшая книжка с его первыми комбинациями была бы уже сдана в набор. Трудно было бы сказать, что думал о нем в действительности сам Маэстро. Хотя он в совершенстве овладел местным диалектом, дома у него предпочитали говорить на идиш. В киосках для сувениров, наряду с кухонными подставками с орнаментом шахматной доски и головами шахматных коней, изящно выточенными местными умельцами, можно было бы купить и красиво оформленные книги самого Маэстро, способствующие развитию комбинационного зрения. Молодые тренеры, бывшие в свое время учениками Маэстро, шушукались, правда, за его спиной, что методика его безнадежно устарела, а самое главное – каково! – трехэтажный коттедж Маэстро прямо на берегу океана – настоящий дворец, причем, говорят даже, что дно немалых размеров бассейна все выложено черно-белым кафелем. Конечно, до Маэстро доходили эти слухи, но он не обращал на них никакого внимания; все время уходило на подготовку матча с самым крупным островом архипелага, в победе он был уверен, а там, кто знает, и до континента недалеко...

Мы провели вместе две недели в Москве летом 1968 года на четвертьфинальном матче на первенство мира Таль – Корчной, где Маэстро был тренером Миши, а я – его секундантом. В безнадежно поначалу складывавшемся матче вдруг забрезжила надежда, борьба обострилась, напряжение спало только с последним ходом. Шахматы отнимали почти все время, хотя сейчас и жалую, что не спросил его тогда о многом, что было бы интересно теперь; с другой стороны, я – тогдашний имел мало общего с пишущим эти строки, разве что – однофамилец.

После моего отъезда из страны мы регулярно обменивались приветами, чаще всего через Таля, а в 1979, что ли, году, играя в Бундеслиге и коротая как-то время в ожидании поезда на Амстер-

дам на вокзале немецкого городка, вспомнил улыбку его и, надеясь, что поймет, от кого, послал открытку с текстом без подписи, повторенным, впрочем, на другой, глянцевой стороне ее по-немецки: «Grussen aus Koblenz».

Процесс распада Советского Союза в конце 80-х годов начался в Прибалтике. В Латвии национальный вопрос стоял особенно остро. Человеческие и профессиональные качества отошли на второй план. Закон шведского короля Густава II Адольфа 400-летней давности (Латвия была тогда частью Шведского королевства) неожиданно стал вновь актуален: «Чтобы никакие евреи и иностранцы в ущерб гражданам Лифляндии терпимы не были». В конце 80-х годов Кобленцу, написавшему свою первую книгу на латышском языке более полувека тому назад, не нашлось места в составе новой федерации шахмат. Он принял это очень близко к сердцу, знаю, что и болел даже. Ему было тогда уже за семьдесят. Несмотря на долгую жизнь, Маэстро еще по-детски верил в чувство благодарности вообще и общественной благодарности в частности. Он был разносторонне одаренным и увлекающимся человеком, что у многих, более заземленных, вызывало чувство зависти или неприятия.

В 1991 году Кобленц уехал из Риги, где родился и прожил всю жизнь, в Германию; немецкий был его языком, сын тоже уже давно жил там, но мир этот, «без России и Латвий», сохранив старые названия стран и городов, выглядел иначе по сравнению с тем, который он знал более полувека тому назад. Впрочем, нельзя сказать, что он эмигрировал в безоговорочном смысле этого слова, так как время от времени Маэстро бывал наездами в Риге. «Документы, подтверждающие право нашей семьи на дом, я собрал почти все, – писал он мне в этот период, – кроме одного – о гибели моей мамы в гетто...»

Начиная с конца 80-х годов у нас снова возобновился контакт, пошел частый обмен письмами, телефонными звонками, особенно после его переезда в Берлин. Он прислал мне свои последние книги, все с теплыми надписями, сделанными красивой вязью.

В книгах этих, наряду с цитатами великих шахматистов о тех или иных аспектах игры, можно встретить высказывания Канта, Гёте и Шопенгауэра. Книги его изданы на многих языках: о работе с Талем, шахматный учебник, о комбинациях, наконец, серия

последних, изданных в Берлине, – «Тренировки с Александром Кобленцем».

«Школа шахматной игры» – Таль назвал этот учебник Кобленца в ряду книг, оказавших на него наибольшее влияние. Не думаю, что это был только вежливый комплимент написавшему ее – своему тренеру и наставнику. Книга действительно была хороша: большого формата, прекрасно изданная, но самое главное – написанная талантливо и с любовью.

Учебники, тренерские дневники, психологические изыскания и книга воспоминаний читаются с интересом, в первую очередь, из-за теплого чувства к шахматам и к людям, связавшим себя с этой игрой. Под его пером любая, даже довольно заурядная история начинала переливаться цветами персидской сказки, а герои повествования приобретали черты Синдбада-морехода из волшебного мира. Все же, мне кажется, что книги его относятся скорее к жанру оперетт, нежели опер, не достигая очень высокого уровня главным образом потому, что сам Кобленц был по природе своей скорее человеком энергии и действия, а не созерцания, мысли и анализа.

Обычно Маэстро отвечал на мои письма в тот же день. Написанные почти разговорным языком: «Ну так вот, Геня, я получил твое письмо, и ты знаешь, о чем я подумал...», они на четыре пятых состоят из замыслов, планов и проектов, что характерно для молодости, но Маэстро и в свои семьдесят пять был молод. Что бы он ни делал, каждую цель свою и задачу он рассматривал как ступеньку, и никогда не присаживался отдохнуть на них. Он был полон энергии и весь излучал то, что обычно называется *joie de vivre*. У него был смех человека, привыкшего постоянно радоваться жизни или, во всяком случае, удивляться ей, что свойственно обычно ребенку. В нем сохранился тот же запал, тот же позыв к действию, к переменам, та же неприязнь к скуке и покою. Само состояние покоя было для него совершенно чуждо; я думаю, что он неосознанно считал, что здесь, на земле, и не должно быть покоя, рассматривая жизнь как приближение к цели, которой никогда нельзя вполне достигнуть.

Возникшая у него была идея – приехать как-нибудь на несколько месяцев в Амстердам – не получила практического осуществления, но он говорил об этом так, как будто играет еще матч Алехин – Эйве, по-прежнему раскладывает в пресс-центре Тарта-

ковер листочки с вариантами, чтобы разнести их по газетам всего мира, есть еще возможность взять очередное интервью у Ласкера, а встреченному в кулуарах Видмару можно сказать, что жизнь, отданная шахматам, удалась. Он говорил о них, как о живых людях, с которыми он по какой-то причине лишен возможности непосредственного контакта; похожее чувство испытываю сейчас сам по отношению к нему.

В 1991 году в Берлине вышел первый номер Schach-Journal, главным редактором которого стал Кобленц. Он и сам писал там: тренерский процесс, психология игры – боюсь, что статьи эти интересны сейчас разве что историку: шахматы конца двадцатого века слишком многим отличаются от тех, в которые играл Маэстро в кафе Лондона и Мадрида, как, впрочем, и от шахмат чемпионатов Советского Союза, выигранных Талем сорок лет тому назад.

Рассказ Маэстро о том, как он в задумчивости, разложив теоретические бюллетени на ковре гостиничного номера и ползая на четвереньках, случайно наткнулся на вариант французской защиты, сообщенный Талю за полчаса до начала первой партии матча на первенство мира с Ботвинником в 1960 году и с блеском примененный им, вызывает улыбку и выглядит сейчас не менее полюбительно, чем диалог между Стейницем и Гунсбергом во время 12-й партии матча на первенство мира 1891 года. Разыграв дебют (гамбит Эванса), Стейниц, игравший черными, спросил у своего соперника: «Полагаете ли вы, что я морально обязан избрать ту же защиту, что в матче с Чигориным?» – «Вы не обязаны, – ответил Гунсберг, – но общественность ожидает, что вы будете защищать свою теорию».

Смерть Таля в 1992 году изменила весь его жизненный тонус; с тех пор Миша стал одной из главных тем его писем. Слова Маэстро о моей посмертной статье о Тале: «Живо, искренне, тепло», – были мне дороже чьих-либо. Он сам начал готовить статью о нем для «New in Chess»: «Я над ней очень серьезно думал, хочу показать свое интимное восприятие Миши, проблему талантливости, ее прогнозирование, взаимосвязь тренера с талантом, его умение стоять в тени, но одновременно благосклонно воздействовать. Мир не понимает, что кроме неназойливых советов или подачи дебютных шпаргалок, самое главное, что тренер должен, – это

решить проблему одиночества подопечного, стать искренним другом, терапевтом, как Миша в одном интервью меня полушутя назвал. Развеять миф о моцартовской легкости его игры, показать его огромный труд и горькие слезы. Шахматный материал я приведу для подтверждения психологических гипотез. Я только не решил, на каком языке писать, на немецком или на русском. Что-то внутренне тянется к русскому, но вижу твою насмешливую, но добродушную улыбку – думаю, ты простишь мою смелость писать по-русски, веря мне, что не считаю себя Пушкиным и, знаешь, откровенно говоря, даже Чеховым».

Или из другого письма: «Наконец-то налаживается моя последняя, но глобальная идея. Я создал заочную международную рижскую академию имени Михаила Таля, не забудется имя Талья, сумеем через нее донести красоту и глубину его творчества».

В этот оставшийся короткий период его жизни я стал называть его Аликом, и не потому, что Маэстро – было мишиным и должно было оставаться таковым, скорее оттого, что игривость и фривольность стали как-то неуместными и неправильными.

Вот и самое последнее письмо: «...годы идут, все ближе перспектива загробного рая. Правда, в моих мемуарах будет глава: письма из загробного мира. Это будет самым веселым куском книги!» И уже в самом конце: «У меня, конечно, трагедия. Собралось столько материалов и мыслей, что они рвутся наружу, а я погибаю в пучине все новых нахлынувших идей, но теперь я, наконец, поставлю точку и начну подводить итоги».

Поток идей прервался 8 декабря 1993 года в Берлине: точку поставила смерть, и подводить итоги стало некому.

Все же попробую. Две трети своей жизни Маэстро был подданным СССР – искусственного образования, вероятно, самого искусственного в новейшей истории, которое, несмотря на политическую несостоятельность, а может быть и благодаря этому, породило больше человеческих типов, чем какая-либо страна в Европе, за исключением разве что Австро-Венгерской империи конца прошлого века. Если считать, разумеется, Советский Союз полностью европейской страной.

Кем же был Кобленц? Несмотря на то, что он родился и всю жизнь прожил в Риге и латышский язык знал в совершенстве, он не был, конечно, латышом.

Хотя он более всего в жизни говорил по-русски, прекрасно знал русскую литературу и культуру, он не был, разумеется, и русским. Несмотря на то, что он окончил немецкую гимназию и превосходный немецкий, несмотря на переезд в Берлин в самые последние годы, он не был, конечно, и немцем.

Еврей по крови, у которого мать и сестры погибли в гетто, он не был и вполне евреем, так как и вопросы религии, и вопросы, связанные с тем, что обычно называют национальным самосознанием, не были близки ему.

Большая часть жизни Маэстро прошла в Советском Союзе. Для того, чтобы нормально функционировать в этой стране, он должен был носить маску, как и многие в те времена, которую желательно было не снимать даже на ночь, дабы не войти в постоянный конфликт с самим собой. В этом случае, правда, маска могла срастись с лицом, и уже непросто было отделить одно от другого. Заказанные Кобленцу воспоминания о Тале для «New in Chess» были пронизаны советскими терминами, понятиями, именами людей, известными только в Советском Союзе, настолько, что от проекта, скрепя сердце, пришлось отказаться: комментарии и сноски превысили бы размеры самой статьи. Я думаю, что не все в абзацах книг его, посвященных расцвету шахмат в советской Латвии, написано в обязательном порядке. Мне не кажется также, что описание первого чемпионата Латвийской советской республики, залитого светом хрустальных люстр зеркального зала бывшей рижской биржи неискренно, а слова: «шахматы в нашей республике теперь из хобби одиночек превратятся в подлинно массовую игру, займут почетное место в культурной жизни республики» были только данью обязательному шаблону. Наконец, он сам, его положение в социальном и общественном смысле, имя его, известное каждому в республике, очевидно, не могли бы стать таковыми в случае гипотетического, разумеется, варианта, если бы Латвия в смысле исторического развития пошла бы в свое время по пути Финляндии или, скажем, Норвегии. Но при всем при том Маэстро не был и не мог быть, конечно, советским человеком.

Рожденный прибалтийским евреем в Риге, издавна стоявшей на перекрестке различных культур – латышской, немецкой, русской и еврейской, он был, конечно, космополитом, гражданином мира. Но космополитизм Маэстро был не только результатом серии биографических случайностей – он вытекал из самой натуры его.

Несмотря на трагические события двадцатого века, коснувшиеся лично его, его семьи, несмотря на длинный ряд потерь и тяжелых ударов судьбы, оглядываясь на прожитую жизнь его и принимая аристотелевское определение счастья – без помех упражнять свои способности, каковы бы они ни были, – можно сказать, что Маэстро прожил счастливую жизнь, сумев сохранить идеалы юности, открытый нрав и сердечность.

Но все же сейчас, подводя итоги, не слишком ли многое попадает в негативный баланс? Не существует шахматный клуб в центре Риги, его помещение, совсем в духе времени, занял какой-то банк. Нет больше журнала «Шахс», выходившего в Латвии с 1959 года; такая же участь постигла и другой журнал, издававшийся в Берлине, главным редактором которого был Кобленц; нет и академии имени Таля. Книги его, вытесненные многочисленными дебютными справочниками, известны разве что знатокам. Самому Кобленцу выпала горькая доля пережить, пусть и ненадолго, своего гениального ученика.

Во времена его молодости между тем, что познано, и тем, что еще не познано в шахматах, лежала обширная область, принадлежавшая искусству и импровизации, за что, собственно, и любил шахматы Кобленц. Область эта была полна ошибок, наивных представлений и эмоциональных заблуждений. Она сократилась сейчас значительно, ушли ошибки, но ушла и аура, ушел во многом ореол самой игры. Человек, вооруженный компьютером, вплотную подошел к разрешению последней истины в шахматах, но окажется ли она интересной? И я совсем не уверен в том, что, если бы выпускнику рижской немецкой гимназии снова нужно было решать, какой жизненный путь избрать в конце двадцатого века, он снова остановился бы на шахматах.

И последнее: что же, все-таки, двигало им? Отчего завелась эта пружина, наперекор логике и здравому смыслу не дававшая ему покоя, приведшая его в шахматы, оторвав от мерной поступи отца и впоследствии сына, далекого и от шахматной игры и от отцовской детскости и восторженности? Где объяснение этому?

В Москве на исходе июльского душного дня 1968 года я стоял у входа в гостиницу «Пекин», где жили тренеры, секунданты и участники матча Таль – Корчной. Накануне состоялось официальное закрытие матча и позднее застолье затянулось глубоко

заполночь. Неожиданно я увидел Маэстро, направляющегося в мою сторону. Он критически оглядел меня и не ответил, как всегда, на мою улыбку. «Так, – сказал он, – хорош». Вид у меня, действительно, был довольно помятый. «Хочешь знать, в чем смысл жизни?» – неожиданно спросил он. Ошарашенный вопросом, я смотрел на него, ничего не отвечая. «А я тебе скажу, – продолжал он, – ты, наверное, думаешь: в удовольствиях, в гулянках? Так ты думаешь?» Я молчал по-прежнему, так как, признаться, даже не задумывался о жизни – этой веселой, а главное, бесконечной субстанции. «Ты, верно, думаешь, чего это он так распаляется? Ты думаешь, конечно, успеешь ли еще сегодня на футбол?» Я поднял голову: Маэстро читал мои мысли. Таким я его еще никогда не видел. «А я тебе скажу – в чем. В творчестве, вот в чем, – торжественно произнес он, – да, в творчестве, а все остальное...» – он еще раз смерил меня взглядом.

Он сам назвал это слово – импульс, чувство, которое двигало им всю жизнь. Чувство это дается не каждому, иногда оно исчезает вместе с молодостью, почти всегда пересыхает к старости. Не так было в случае Маэстро. Чувство это, конечно, – дар, и он сохранил этот дар в своих беспокойных генах до самой смерти: бесконечную радость творчества.

Перед тем, как взяться за статью, я позвонил вдове Кобленца в Берлин, в еврейский русский дом для престарелых. «Он был для меня – все, – заплакала она, – а теперь вот нет его, и вот уж шесть лет, как нет, и некому даже памятник ему на могилу поставить».

Я обещал постараться...

Октябрь 1999

ПРЫЖОК

История шахмат прошлого века – это, главным образом, история матчей на первенство мира, крупнейших международных турниров, титулов, табели о рангах, рейтингов, побед. Что и говорить, шахматы не относятся к той области, где побежденным иногда быть честнее, чем победить. Но история шахмат – это не только история маршалов и генералов. В них есть свое место у каждого настоящего мастера, великого или малого. В шахматах есть свои «могилы неизвестного солдата», и у истинных ценителей игры они вызывают не меньше уважения, чем самые блестящие имена.

«Это, наверное, Алвис, – сказал Таль, услышав звонок и отрываясь от анализа, чтобы открыть входную дверь, – мы договорились вчера поблицевать немного». Время действия – лето 1968 года. Место – Рига, квартира Таля, где я помогаю ему готовиться к полуфинальному матчу на первенство мира с Корчным.

В комнату вошел слегка раскачивающейся походкой и несколько наклонившись вперед очень высокий молодой человек, довольно угрюмый на вид, с высоким покатым лбом и с сумрачным взглядом, направленным куда-то в пространство. Это был Алвис Витолиньш.

Мы были знакомы: несколько лет назад на армейском турнире в Ленинграде мы сыграли партию, которую я запомнил очень хорошо. В равном поначалу эндшпиле с разноцветными слонами Витолиньш развил сильнейшую инициативу и, казалось, мне не сдобровать. К тому же времени было в обрез, и я очень нервничал. В этот момент Витолиньш предложил ничью: ему все было ясно. Остановив часы, он начал демонстрировать неочевидные варианты, где черные удерживают позицию, играть же на время он не хотел.

В тот день Таль и Витолиньш играли блиц до позднего вечера; так бывало и в другие дни. Таль, один из крупнейших специалистов по молниеносной игре своего времени, выигрывал, конечно, чаще, но нередко, как правило, белыми, Алвису удавались блестящие атаки, контуры которых я помню до сих пор.

Тогда же я понял по-настоящему, что имел в виду Таль, когда

он сам, выдающийся тактик, в анализе, жертвуя материал за инициативу, оживлялся: «Ну а теперь сыграем по Витолиньшу...»

Алвис Витолиньш родился 15 июня 1946 года в Сигулде, под Ригой. Ему было девять лет, когда отец привел мальчика к первому тренеру – Феликсу Цирценису. Талант Витолиньша был очевиден, и уже через несколько лет он – шахматная надежда Латвии – становится одним из сильнейших юниоров страны.

«Он был лучшим из нас, – вспоминает Юрий Разуваев. – Алвис всегда блистал на всесоюзных юношеских соревнованиях. Не случайно, что он и мастером стал одним из первых. Витолиньш уже тогда очень тонко чувствовал равновесие в шахматах; когда оно нарушалось, фигурная инициатива в его руках становилась решающим фактором.

Он был очень высокий и проходил у нас под кличкой Длинный. И было что-то особое в Алвисе – некое биологическое явление победителя – человека, по-иному воспринимающего шахматы. Вероятно, что-то похожее чувствовали соперники Фишера, на которого он, кстати, был очень похож всем своим обликом. Но и тогда уже была видна его наивность, необычность, погруженность в себя.

Жанровая сценка тех лет: на юношеских сборах Витолиньш борется с Вооремаа, эстонским шахматистом. Физически более сильный Витолиньш прижимает своего соперника подушкой к кровати, побежденный просит пощады. Требование победителя: «Будешь петь гимн Советского Союза на русском языке». Понятно, какого рода чувства они оба испытывали к России, к Советскому Союзу.

Владимир Тукмаков вспоминает, что за острый, яркий, комбинационный стиль Витолиньша называли вторым Талем: «Шахматный потенциал его был фантастичен. Кроме того, было видно, что шахматы для него – все, и это тоже роднило его с Талем. Он был малокоммуникабелен, весь как бы замкнут в себе; хотя я и играл с ним несколько раз, вряд ли обменялся с ним более чем одной-двумя фразами после партии. Большие надежды, возлагавшиеся на него, не оправдались; стало ясно, что он не состоялся как большой шахматист, причем это произошло еще до его тридцатилетия, он быстро сгорел. Конечно, и потом все знали, что Витолиньш очень опасен, что с ним нельзя расслабляться, но время его уже прошло...»

Действительно, вся биография Витолиньша укладывается в несколько строчек. Вначале огромные надежды и успехи в юношеских соревнованиях. Успехи, которые как-то сошли на нет. Он не стал даже гроссмейстером, а количество международных турниров (все в пределах тогдашнего Советского Союза), в которых он принял участие, можно пересчитать по пальцам. В Латвии, впрочем, Алвис блистал: семь раз он выигрывал чемпионат республики, несколько раз – прибалтийские турниры. Вот, пожалуй, и все. В конце 80-х – начале 90-х годов, когда, наконец, появилась возможность выезжать, он играл в каких-то открытых турнирах в Германии, но ему шел уже пятый десяток, и лучшие годы его были давно позади. Он окончил в свое время два курса немецкого отделения филологического факультета университета и неплохо говорил по-немецки. Всю свою жизнь Витолиньш жил с родителями, он никогда не был женат. Таковы внешние контуры его биографии. На деле же у него не было другой жизни, кроме той, что связана с партиями, турнирами, бесконечными анализами. Шахматами.

Как он играл? Девизом Витолиньша была инициатива. Инициатива любой ценой. Создание таких позиций, где две, а то и одна пешка за фигуру являются достаточной компенсацией, потому что остающиеся на доске фигуры развивают яростную энергию, из них извлекается максимальный коэффициент полезного действия, именно этот фактор становится решающим в оценке позиции, скорее даже, чем уязвимость неприятельского короля. Очень часто после такой жертвы происходили удивительные вещи: позиционное преимущество неумолимо наращивалось, превосходящие силы противника теряли взаимодействие, атака усиливалась с каждым ходом. Разумеется, король оставался главной приманкой и нередко он в первую очередь и становился жертвой агрессии, но главной целью было все-таки извлечение максимальной энергии из фигур. Такая манера игры вообще характерна для латвийской школы шахмат. Очевидная у Таля и Витолиньша, она прослеживается сегодня у Широва, Шабалова, Ланки. Отличительной чертой ее является создание позиций, где оба короля находятся под угрозой, все висит, и от одного неверного хода может рухнуть вся конструкция. Не случайно, что книга Широва называется «Пожар на доске».

Как и у Широва, у Витолиньша была высокая техника эндшпиля, но длительных, маневренных партий с лавированием у него почти нет. Если в наполеоновском определении войны как несложного искусства, целиком заключающегося в действии заменить войну шахматами, мы приблизимся, как мне кажется, к восприятию игры, как ее понимал Витолиньш.

Но каким бы ярким игроком не был Витолиньш, в первую очередь он был неутомимым исследователем шахмат. Его девизом было: 1.e2 – e4! – и выигрывают! Это, конечно, продолжение линии Всеволода Раузера, замечательного исследователя, с именем которого связана разработка многих атакующих систем в теории игры. Или, быть может, корни этого надо искать еще глубже, в утверждении Филидора, полагавшего, что начинающий партию при правильной игре должен выиграть. Во всех дебютах, которые он анализировал за белых, Витолиньш пытался доказать не просто их преимущество, но преимущество большое, по возможности решающее.

В 1980 году Владимир Багиров начал вести тренировки со сборной Латвии: «Алвис приходил ко мне на занятия каждую пятницу. Тренировки наши заключались в том, что мы играли блиц, пятиминутки; победителем признавался тот, кто первым набирал десять очков. Витолиньш играл каждую партию как партию жизни и переживал ужасно в случае проигрыша. К слову сказать, блицором он был блистательным, в чем-то не уступавшим и Талю.

Бывало, я побеждал его, но он выигрывал чаще и с более крупным счетом. Во всех партиях, где у меня были черные, игрались защита Алехина, либо Каро-Канн. Он готовился к этим матчам тщательно, разрабатывал собственные идеи, пытаясь получить в Каро-Канн большое преимущество, а защиту Алехина, которую не считал серьезным дебютом, вообще опровергнуть. Таранное продолжение на шестом ходу, которое он применял наиболее часто и ввел впоследствии в турнирную практику, я в своей книге назвал «вариантом Витолиньша».

Витолиньш разработал и создал современную теорию варианта Кохрейна в русской партии и сыграл этим вариантом десятки партий. «Будешь жертвовать на f7, если я сыграю русскую?» – спросил у Витолиньша один из участников чемпионата Латвии 1985 года, подготовивший, как ему казалось, усиление. «Конечно», – последовал уверенный ответ и короткая сокрушительная атака.

Но все же главным полигоном для его изысканий была сицилианская защита, здесь он был подлинным генератором идей. Любимыми полями для слонов в этом дебюте у него были b5 и g5, причем очень часто слон опускался на b5, несмотря на то, что это поле контролировалось пешкой а6; он разворачивал позицию как веер, нередко направляя и коней на поля d5, f5, e6 под удары неприятельских пешек.

Ему принадлежит множество открытий в варианте с жертвой пешки на b2 в варианте Найдорфа, очень модном в 60-х – 70-х годах и регулярно применявшимся Фишером. Фактически вся теория большого подразделения варианта, связанная с жертвой коня на 18-м ходу и атакой с последующими тихими ходами, началась с Витолиньша. О другом разветвлении того же варианта, введенном им в турнирную практику, он написал статью для «New in Chess», закончив ее характерными словами: «Мой опыт аналитика подсказывает, что даже в самых тщательных анализах могут быть обнаружены ошибки. Я хотел бы только указать читателю, что новые идеи могут быть найдены даже в досконально изученных вариантах. Истинные шахматы беспредельны!»

Витолиньшу принадлежат несколько наиболее агрессивных продолжений против также бывшего тогда в моде варианта Полугаевского. Таль, неоднократно пользовавшийся помощью и советами Алвиса, успешно применил эти идеи в матче против самого автора системы, хотя ему и не удалось реализовать их до конца. Другая идея Витолиньша в системе Раузера (опять размашистое развитие слона на b5!), напротив, принесла Талю важнейшие очки, сначала на межзональном турнире, а затем на турнире претендентов в партии против Корчного в 1985 году. Миша вообще относился к Витолиньшу очень трогательно, видя в нем несостоявшегося гения, каким тот, конечно, и являлся, и говорил о нем всегда как о единомышленнике и последователе. Витолиньшу принадлежит идея жертвы пешки – b7 – b5 в защите Нимцовича, в варианте 4.Фс2; вариант Сb4+ с последующим с7-с5 в новоиндийской защите, применяемый на самом высоком уровне, первым начал разрабатывать Витолиньш. Идея выглядит на первый взгляд нелепой: пешка, при помощи которой можно подорвать центр, добровольно уводится на фланг, но зато создается напряжение на этом участке доски, а главное – возникает необычная позиция, где могла проявиться его богатая фантазия.

В старые времена на проблему совершенствования в шахматах смотрели просто. «Премудрости особенной в этой игре нет, и если не стремиться сделаться профессиональным игроком, то следует только почаще практиковаться», – писал в 1894 году «Шахматный журнал» Шифферса. Однако постепенно тренировки, изучение специальной литературы и анализ стали обязательными для повышения силы игры даже на любительском уровне, хотя в шахматах настоящее трудолюбие заключается не столько в том, чтобы работать усердно, сколько работать правильно. Истина, которую часто забывают любители, пытающиеся добиться прогресса в игре и не щадящие времени для совершенствования.

Но что значит шахматный анализ, как его понимал Витолиньш? Очевидно, что он постоянно пребывал в состоянии, известном в той или иной степени каждому, серьезно занимавшемуся шахматами. После нескольких часов вечернего анализа позиция вроде бы поддается, но окончательное решение еще не найдено. Оно где-то рядом, но ускользает неуловимо, пробуешь и так, и этак. И наступает ночь, и накатывается усталость, и разумом понимаешь, что лучше отложить до завтра, но продолжаешь в отчаянии искать этот темп, и перебираешь все ходы, приближаясь к началу варианта, а иногда и к исходной позиции фигур. Но если приходит озарение и решение, наконец, получено, знаешь, что радость от найденного перевесит усталость всех дней, недель, а то и месяцев, затраченных на поиски того, что интуитивно чувствовал с самого начала. В его же случае время вообще не играло никакой роли, и наградой являлись не призы, деньги или пункты рейтинга, а сам процесс погружения в шахматы.

Шахматная теория подобна змее, которая растет, сбрасывая кожу. Происходит процесс беспрестанного обновления. Но в отличие от змеи, в теории игры все время идет процесс возвращения к старым, вышедшим из моды вариантам. Они предстают обогащенные новыми идеями, и немало зарубок на этой дороге исследований сделано Алвисом Витолиньшем. Идеи его оставили свой след, даже если многое из того, что он анализировал или играл, кажется сейчас наивным или, проверенное временем и машиной, не вполне корректным.

Идеи переполняли его и он, играя, не всегда мог реально оценивать ситуацию на доске. Это, конечно, наряду с откровенной нелюбовью к защите и игре в чуть худших позициях было его оче-

видной слабостью. Лев Альбурт и Юрий Разуваев, не раз игравшие с Витолиньшем, вспоминают, что старались вести с ним партию классически, подчеркнуто жестко, зная, что в определенный момент Алвис может увлечься эффектным ходом, красивой, заманчивой, но не вполне корректной комбинацией и выпустить партию из-под контроля.

Однако, чтобы понять полностью феномен Алвиса Витолиньша, необходимо знать, что он страдал тяжелым душевным расстройством и фактически с самого начала не столько боролся со своими соперниками, сколько с самим собой.

Зигурдс Ланка знал Витолиньша с середины семидесятых годов, когда сам начал регулярно играть в чемпионатах Латвии: «Детский тренер Алвиса Цирценис полагал, что уже к концу школы у того стали проявляться симптомы шизофрении. Эта болезнь преследовала Витолиньша всю жизнь, и он должен был все время пользоваться какими-то сильными лекарствами, которые притупляли восприятие и из-за которых он, конечно, хуже играл. Он избегал их принимать, чтобы сохранить ясность мышления и реакцию, но это приводило к срывам. В шахматном смысле это выражалось в том, что он мог вполне нормальную, вполне защитимую позицию просто сдать, если она была ему не по душе. В жизни же, будучи человеком своенравным и прямолинейным, мог кого-нибудь и нокаутировать, что случалось...

Не каждый был в состоянии выдержать его режим дня, и, так как я был тогда в команде самый молодой, во всех соревнованиях на выезде нас всегда селили в одну комнату в гостинице. Ночью он обычно бодрствовал, анализируя какую-нибудь позицию на магнитных шахматах, засыпая только под утро. Но мог не ложиться и двое суток, зато потом проспать двадцать четыре часа подряд. Его почти всегда можно было встретить в рижском шахматном клубе, он бывал там целыми днями. Я сыграл с ним массу партий – турнирных, с ускоренным контролем, блиц, и при игре черными чувствовал, как, пожалуй, ни с кем, что нахожусь постоянно под страшным давлением. Каждый его ход создавал какую-то угрозу, нес определенный заряд энергии, он не давал тебе спокойно играть. Это была колоссальная динамика, прекрасная техника на фундаменте классических логичных шахмат и хорошей школы.

Когда сейчас я смотрю, как анализирует Широ́в, разбираю партии Ана́нда, Кра́мника, мне вспоминается Алвис. Абсолютное проникновение в смысл позиции, предвидение событий на много ходов вперед. Это дается немногим».

Высокий, очень крупный, с низко опущенными бакенбардами, он в молодые годы походил на своего знаменитого американского почти тезку; кое-кто и звал его так: Элвис. С возрастом черты лица его стали резче, здесь и там пролегли глубокие морщины, бакенбарды еще более удлинлись, он напоминал теперь скорее шкипера с английского торгового корабля девятнадцатого века. И по-прежнему в облике Витолиньша чувствовалась какая-то странность, заторможенность, он был как бы не от мира сего, с неадекватной, зачастую трудно предсказуемой реакцией, странным смехом. И если в молодости это было не так заметно, с годами качества эти становились все более очевидными. Он был честен, наивен и добр по природе своей; улыбка, пробежавшая иногда по лицу его, делала его по-детски беззащитным; Алвис и оставался всю жизнь по существу большим ребенком. Как нередко бывает у такого рода людей, физически он был очень силен. Когда доктор посоветовал ему заняться каким-либо спортом, он, индивидуалист по натуре, приобрел семикилограммовое ядро и ежедневно метал его у себя на хуторе. Он делал это со страстью, радуясь улучшениям результатов и доведя личный рекорд, по рассказам, до тринадцати метров.

Блиzkих друзей у него не было, он сторонился людей, особенно незнакомых, особенно не шахматистов. На турнирах его часто видели в компании Карена Григоря́на (1947 – 1989).

Отец Карена Григоря́на – выдающийся армянский поэт Ашот Граши, мать – профессор филологии. Очень развитый и начитанный, Карен мог с детства на память цитировать многих поэтов; его любимым образом в литературе был лермонтовский Демон, а в живописи – «Демон» Врубеля. Карен рос легко ранимым, тонко чувствующим искусство мальчиком. Трудно сказать, как сложилась бы судьба его, если бы он пошел по стопам родителей, но в семилетнем возрасте ребенок был отдан в шахматы. Любопытно, что Карен некоторое время занимался у Льва Аронина, незаурядного шахматиста и теоретика, также отягощенного серьезными ментальными проблемами. Одной из переломных партий в шах-

матной карьере Аронина оказалась встреча со Смысловым на 19-м чемпионате СССР 1951 года. Она была отложена в позиции, где фактически каждый ход вел к победе белых. Однако Аронин, имевший целый день для анализа, перешел в пешечный эндшпиль, где позволил своему сопернику спастись этюдным способом. Карен вспоминал впоследствии, что, приходя к Аронину, всякий раз видел его за этой позицией, задумчиво переставляющим фигуры...

Обладая ярким разносторонним талантом, Карен Григорян считался в свое время шахматной надеждой Армении. В семидесятых годах он регулярно принимал участие в финалах первенства Советского Союза – сильнейших в мире турнирах того времени. Как и Витолиньш, он был как бы не от мира сего, может быть, не такой угрюмый, как Алвис, но тоже странный, необычный, не такой, как все.

Одним из любимых вопросов Карена был: «Как ты думаешь, какой турнир был сильнее – Ноттингем 1936 года или чемпионат Союза 1973-го?» Карен задавал его регулярно, беря собеседника за локоть и заглядывая ему в глаза. В том первенстве, кстати, одном из самых представительных за всю историю чемпионатов страны, он сыграл прекрасно. По меркам сегодняшнего дня Карен был, конечно, сильным гроссмейстером. Выиграв подряд две партии в чемпионате страны или в международном турнире, он считал себя гением и легко выстраивал цепочку: «Вчера я выиграл у Таля (дело было в том же 1973 году), конечно, Таль уже не чемпион мира, но у него положительный счет с Фишером. Что ты думаешь о моих шансах в матче с Фишером?» На следующий день, проиграв партию, он мог впасть в уныние, в депрессию, повторяя, что ему противна его собственная игра, что жизнь его никому не нужна, заговаривал о самоубийстве – задолго еще до того, как стал пациентом психиатрической лечебницы и последнего прыжка с самого высокого ереванского моста 30 октября 1989 года.

Дружба Григоряна и Витолиньша не была дружбой в общепринятом смысле слова. Отгороженные от другого мира, они просто понимали друг друга или, вернее, доверяли друг другу. Это было скорее интуитивное чувство близкого человека, который после разговора с тобой не отойдет в сторону и не станет пересказывать содержание его с иронией или ухмылкой. И, конечно же, в их мире шахматы, которые они оба любили самозабвенно, играли самую главную роль.

И Алвис Витолиньш, и Карен Григорян были замечательными мастерами блица. Если в турнирных шахматах они были сильными, опасными, хотя и неровными игроками, то в молниеносной игре им было мало равных. То же относится и к Лембиту Оллю (1966 – 1999), сильному эстонскому гроссмейстеру и незаурядному теоретику, обладавшему редкой памятью, человеку похожей судьбы, также страдавшему психическим расстройством и тем же способом добровольно ушедшему из жизни. Объяснение спрашивается само: время, отпущенное на игру, позволяет погружаться в раздумья, порождая сомнения и неуверенность. Для них же – с резкими перепадами настроения и возбудимой нервной системой – это служило только толчком к ошибке, просчету. В блице же требуется молниеносная реакция, уходят на задний план психология и самокопание, и остается лишь то, что было так очевидно у них – большой природный талант.

Любая шахматная партия включает в себя разнообразную гамму эмоций, маленькие и большие радости и огорчения. Это сопутствует любому виду творчества. Но если в живописи или литературе, к примеру, можно зачеркнуть, переписать, изменить – в шахматах движение пальцев, направленное головой, является окончательным; нередко его можно исправить, только смахнув деревянные фигурки с доски. Или, казня себя, биться головой о стену или кататься по полу, как это делает один современный гроссмейстер после проигранной партии.

Редкая партия развивается по пути плавного наращивания преимущества и превращения его в очко. Но даже и в этом случае честный с собой игрок знает, чего он опасался в определенный момент, на что надеялся или как вздрогнул в душе, просчитавшись в варианте. Сплошь и рядом же партия протекает по такой примерно схеме: несколько хуже, явно хуже, ошибка соперника, радость, шансы на выигрыш, цейтнот, упущенные возможности, ничья. Такого рода перепады настроений и эмоций встречаются и на высоком профессиональном, и на любительском уровне; в последнем случае резкие пики подъемов и спусков могут присутствовать многократно.

Смена же настроения в течение турнира, хотя и не в такой резкой форме, как у Карена Григоряна, уверен, также известна каждому шахматисту. «У вас даже походка изменилась», – сказал на-

блюдательный Давид Бронштейн в январе 1976 года в Гастингсе, после того, как мне удалось выиграть пару партий кряду. Такого рода эмоциональные перегрузки и перепады во время партии, во время турнира не могут служить укреплению внутреннего ментального стержня. Шахматы на высоком профессиональном уровне постоянно расшатывают его, что может привести к тяжелым, далеко идущим последствиям, особенно если стержень этот непрочен или болезнен. Ни в одном виде спорта нельзя встретить такого количества погруженных в себя, живущих в своем собственном мире, «других» людей. Что привлекает их с их зыбкой, неустойчивой психикой, в этом, по набоковскому определению «сложном, восхитительном и никчемном искусстве»? Или здесь имеет место обратная связь, и это шахматы воздействуют на психику?

Но и без Владимира Набокова и Стефана Цвейга в живой галерее шахмат вчерашнего и сегодняшнего дня среди такого рода людей можно без труда найти гениев или несостоявшихся гениев. «Первые шаги Торре именно таковы, какими они бывают у будущих чемпионов мира», – писал Эм. Ласкер в самом начале карьеры Карлоса Торре (1905 – 1978), высокоодаренного мексиканского шахматиста, который в совсем молодом возрасте был вынужден оставить шахматы и провести остаток жизни в психиатрической лечебнице. Альбин Планинц, манерой игры так напоминавший Таля, сверкающим метеоритом пронесся по шахматному небосклону конца шестидесятых – начала семидесятых годов, блеснув в турнирах того времени. И его карьера оказалась недолгой: вследствие тяжелого психического расстройства он тоже должен был оставить шахматы и стать постоянным пациентом специальной клиники.

Но где граница здравого смысла, разума, нормальности? Четкие ориентиры здесь разметить нельзя, и нередко речь идет о пограничных областях, в зарослях которых могут заблудиться и сами психиатры – представители профессии, где психические отклонения встречаются чаще всего. Владимир Набоков, по собственному признанию, с особенным удовольствием составлявший «задачи-самоубийцы, где белые заставляют черных выиграть», полагал: «Да, Фишер – странный человек, но нет ничего ненормального в том, что игрок в шахматы ненормален, это нормально. Возьмем случай Рубинштейна, известного игрока начала века, которого каждый день карета скорой помощи доставляла из сумасшедше-

го дома, где он находился постоянно, в кафе, где он играл, а затем отвозила обратно в его мрачную клетушку. Он не любил смотреть на своего противника, но пустой стул за шахматной доской раздражал его еще больше. Поэтому перед ним ставили зеркало, где он видел свое отражение, а может быть, и настоящего Рубинштейна».

В годы своих триумфов великий Акиба любил сидеть вполоборота за шахматной доской, как бы отстраняясь от соперника и играя только свою партию. В заключительный период его выступлений эта манера приобрела еще более выраженный характер.

Александр Алехин: «В последние 2 – 3 года своей шахматной карьеры он, сделав ход, сразу же буквально убегал от шахматной доски, сидел где-нибудь в углу турнирного зала и возвращался к доске лишь после того, как его соперник делал ответный ход. Свое поведение он сам объяснял так: «Чтобы не поддаваться влиянию соперника». И не тот же ли мотив отстранения от других и защиты своего хрупкого «я» слышится в его ответе Алехину, когда тот спросил у Рубинштейна, почему он не применил в дебютном положении его, алехинского, хода, лучшего, по его мнению: «Но это не мой ход». Или в словах: «Завтра я играю против белых фигур», – в ответ на вопрос об имени его соперника в предстоящем туре. И когда вообще начались для него приготовления к тому походу, который привел его в брюссельскую клинику, окончательно отделив его от тех, кто взял на себя смелость считать себя нормальными и держать его взаперти.

Сиделка клиники мадам Рубин-Циммер вспоминала: «Он человек необычайно спокойный и владеющий собой. С ним легко – физически он исключительно крепок и для своего возраста очень здоров. Однако время от времени он бывает странен. Он целыми днями не выходит из комнаты даже на короткую прогулку или иногда по вечерам не хочет ложиться спать. Тогда он сидит в кресле возле кровати и о чем-то глубоко размышляет или передвигает фигурки карманных шахмат».

Мы не знаем, как протекали уроки, которые брал молодой О'Келли, приезжая в клинику к прославленному Маэстро, но так ли уж являлось препятствием ему его душевное расстройство? О чем думал он, когда уже в самый последний период своего заключения долго сидел перед шахматной доской с фигурами, расставленными в начальном положении, делая иногда ход 1.с2 – с4 и,

возвратив пешку после получасового раздумья назад, снова смотрел на шахматную доску? Какая разгадка тайны начальной позиции мерещилась ему?

Трудно сказать, как сложилась бы жизнь нервного и впечатлительного юноши, если бы он, с блеском окончив университет, построил бы ее согласно записи в дипломе: «Пол Чарлз Морфи, эс-квайр, имеет право практиковать в качестве адвоката на всей территории Соединенных Штатов». Шахматный мир потерял бы одного из своих величайших гениев, но, быть может, он не провел бы последние двадцать лет жизни в состоянии тяжелого психического расстройства.

Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц, кончивший жизнь в психиатрической лечебнице, писал: «Шахматы не для слабых духом, они поглощают человека целиком. Чтобы постичь глубину этой игры, он отдает себя в рабство...». Это было само собой разумеющимся – добровольное сладкое рабство – и для одного из самых выдающихся игроков прошлого века Роберта Фишера, искренне удивлявшегося: «А чем же еще?», – в ответ на вопрос интервьюера, чем он занимается помимо шахмат, и объяснявшего свои победы за шахматной доской: «Я отдаю 98 процентов моей ментальной энергии шахматам. Остальные отдают только 2 процента». Но так ли уж нужны эти два процента ментальной энергии, остающиеся от шахмат? Конечно, ему было с детства известно, что деньги – это хорошо, еще лучше, когда их много, по возможности если это выражается цифрой с шестью нулями. И чем больше нулей после единицы, тем лучше. Но что делать с этими деньгами? С деньгами вообще? И в конце концов, не все ли равно, по улицам какого города – Нью-Йорка, Пассадены, Будапешта – бродить, опасаясь вездесущих журналистов и фотографов. Ведь тот другой – единственный – шахматный мир всегда внутри тебя, в любое время дня и ночи и в любой точке земного шара.

Аристотель писал: «Из числа победителей на Олимпийских играх только двое или трое одерживали победы и мальчиками, и зрелыми мужами; преждевременное напряжение подготовительных упражнений настолько истощает силы, что впоследствии, в зрелом возрасте, их почти никогда не хватает».

В наши дни шахматы на высоком уровне требуют еще больше всепоглощающей подготовки, полной концентрации, отрешенно-

сти от всего остального. Полагаю, что тенденция эта прослеживается уже сегодня и будет только усиливаться, именно: достижение вершины и прохождение своего пика еще до тридцатилетия: слишком много нервной энергии было выплеснуто в период подготовки и борьбы в юные годы.

Даря радость творчества, а иногда призы и деньги, шахматы на самом высоком уровне требуют взамен пустяка – души.

В самый последний период жизни Алвис по-прежнему бывал в клубе почти каждый день, давая советы каждому, кто спрашивал его, играя блиц, анализируя часто допоздна. Иногда оставался и ночевать там. Все еще держала его исступленная страсть анализа, длящаяся долгими часами, сутками, не различающая вчера и позавчера, с тем, чтобы потом взять реванш долгим беспробудным сном, когда завтра переходит в послезавтра. Шахматы никогда не были для него забавой, и его жизнь в шахматах вне быта и повседневных забот и была его реальной жизнью. Он жил в шахматах, в затворничестве, как в добровольном гетто, и неудобно чувствовал себя за воротами этого гетто в другом большом мире, нереальном и зачастую враждебном. К тому же, ему исполнилось пятьдесят, и в этой новой жесткой жизни он был и подавно уже никому не нужен. Материальное стало определяющим, и этот материальный, вещественный мир, к которому он всегда относился с опаской, грозно надвинулся на него. Витолиньша уволили из Федерации, где он работал тренером. Дело было, конечно, не в грошах, которые Алвис получал там: рушились связи с миром. Он всегда был безразличен к тому, что ел и во что был одет; пока были живы родители – это были их заботы. Они умерли в течение одной недели, а в новогоднюю ночь 1997 года умер и врач-психиатр Эглитес, тоже шахматист, бесплатно лечивший Витолиньша.

Оборванный, неухоженный, беззубый, Алвис приходил прощаться за день до осуществления своего сознательного решения с теми, кто его еще помнил, и только на следующий день они поняли, о каком прощании шла речь.

О чем думал он в свой последний день? Для чего жизнь? Зачем этот мир? Что есть судьба? Что есть шахматы? Прощался ли он с ними или, как у набоковского героя, «шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была

и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие...».

Вспоминал ли он последний роковой прыжок Карена Григоряна, также восставшего против общепринятого: *mors certa, hora certa sed ignota? Ignota?** Или неосознанно последовал совету древних: «Главное – помни, что дверь открыта. Не будь труслив, но, как дети, когда им не нравится игра, говорят «я больше не играю», так и ты, когда тебе что-то представляется таким же, скажи «я больше не играю» и удались, удались, а если остаешься, то не сетуй». Он никогда не сетовал на эту жизнь, но и оставаться в ней он больше не хотел.

Сигулда – одно из самых красивых мест в Латвии. Таинственные песчаные пещеры, руины средневековых крепостей и замков, огромный парк с вековыми дубами разделен быстрой Гауей с ее отвесными берегами. Хорошо здесь и зимой, когда все в снегу и деревья в инее, и только сверкает на солнце бело-синий лед застывшей реки и манит, манит к себе, и остался только последний прыжок. Как и Лужин, он почувствовал, что «хлынул в рот стремительный ледяной воздух, и он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним».

Морозным днем 16 февраля 1997 года Алвис Витолиньш бросился вниз на этот лед с сигулдского моста.

Май 2000

* Смерть несомненна, час ее неизбежен, но неизвестен. – *лат.*

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В богатой событиями и личностями шахматной истории ушедшего века имя его можно найти разве что в подстрочниках. Ценное редкими знатоками, оно сохранилось в памяти лишь нескольких людей, но не в коллективной памяти, и сегодня почти забыто. Он не был чемпионом мира, не был никогда и претендентом на это звание. Более того, количество международных турниров, в которых он принял участие, можно в буквальном смысле пересчитать на пальцах одной руки. Но не всегда очки и титулы являются единственным критерием силы и таланта. Ласкер и Капабланка считали его сильнейшим шахматистом в Советском Союзе после Ботвинника. Смыслов, Бронштейн и Тайманов, Корчной и Спасский, вспоминая о нем, употребляют эпитеты «незаурядный», «замечательный», «выдающийся». И сегодня, оглядываясь на события более чем полувековой давности, они, чемпионы и вице-чемпионы мира, сильнейшие игроки своего времени, говорят о нем как о человеке из своей когорты. В духовном же смысле – как о личности неординарной, человеке высокоэрудированном, резко выделявшемся на фоне серой конформирующей массы. И собирая сейчас по крупинкам память о событиях и людях того века, смотришь по-другому на многих и многое, казавшееся тогда старомодным, незначительным и ушедшим навсегда.

Григорий Яковлевич Левенфиш родился 9 марта 1889 года в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи, в небольшого достатка еврейской семье. В Люблине он сыграл первые шахматные партии. В 1907 году, после окончания гимназии, он приезжает в Петербург, где поступает в престижный Технологический институт. В Петербурге же Левенфиш успешно выступает в ряде турниров. В 1911 году на турнире в Карлсбаде становится мастером. В 10-е – 30-е годы он – один из сильнейших шахматистов страны. Дважды выигрывает первенства Советского Союза, девятое – в 1934 – 1935 году и десятое – в 1937-м. Сведя вничью в том же году матч с Ботвинником, он отстоял звание чемпиона страны, за что ему было присвоено звание гроссмейстера СССР. С 1950 года он – международный гроссмейстер. Умер Левенфиш в 1961 году. Так выглядит внешняя канва его биографии.

Он не раз повторял: «Я должен рассказать о том, что, кроме меня, не знает никто». Незадолго до смерти он закончил книгу воспоминаний. Эпиграфом для нее он избрал слова Моэма из книги «Подводя итоги»: «В молодости годы тянутся перед нами бесконечно длинной вереницей, и трудно осознать, что они когда-нибудь минуют. Даже в среднем возрасте легко найти предлог, чтобы не делать того, что следовало бы выполнить. Но наконец наступает время, когда требует к себе внимания смерть. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны, но это, в сущности, остается для нас афоризмом и абстракцией, пока мы не осознаем, что по ходу вещей и наш конец не за горами. (...) Было бы досадно умереть, не написав этой книги». Но продолжим цитату: «Закончив ее, я смогу безмятежно смотреть в будущее – труд моей жизни будет завершен». Левенфиш не включил эту последнюю фразу в строки эпиграфа, вероятно, оттого, что знал уже – в его случае это будет, увы, не так.

Незадолго до смерти в редакции издательства «Физкультура и Спорт» он встретил Давида Бронштейна. «Вы знаете, Девик, что они сделали со мной? – Левенфиш был в отчаянии, – они вычеркнули у меня половину книги, все самое острое и интересное и выкинули!» Но и в таком препарированном виде увидеть свою книгу Левенфишу не было суждено: она была издана только через шесть лет после его смерти. Попытки Бронштейна разыскать рукопись впоследствии ни к чему не привели – она бесследно исчезла.

Левенфиш писал эту книгу на закате жизни, в возрасте, когда вся жизнь кажется одним очень коротким прошлым, а прошлое – неотъемлемой частью настоящего. Впрочем, есть ли что-нибудь реальнее того, что бережно хранится в памяти? Очевидно, однако, что даже в те относительно либеральные хрущевские времена в истории Советского Союза он не мог погружаться в жизнь свою с откровенностью, обязательной для тех, кто решился на всегда тяжелое и грустное занятие подведения итогов.

Попробуем мы. Какая ни есть – осталась книга. Живы еще люди, хоть их и немного, помнящие его. Наконец, остались партии, переиграв которые, можно составить впечатление о том, каким шахматистом был Григорий Яковлевич Левенфиш.

Его студенческие годы совпали со временем, которое в России принято называть Серебряным веком. Без сомнения, годы эти для

Левенфиша явились лучшими в жизни, и не только потому, что это была молодость, студенчество, избыток жизненных сил; они были наполнены всем, что могла предложить тогда авангардная Россия начала века: концертами, выставками, спектаклями. И городом, который, как он сам скажет впоследствии, на него, «жителя тихой провинции, произведет ошеломляющее впечатление» и в котором он проживет почти всю жизнь. И шахматами.

Шахматный кружок в петербургском Технологическом институте считался одним из сильнейших в городе. В него входил и Василий Осипович Смыслов – отец будущего чемпиона мира и сам сильный шахматист. В феврале 1909 года на турнире памяти Чигорина двадцатилетний Левенфиш, затаив дыхание, следит за партиями Ласкера, Шлехтера, Рубинштейна, Тейхмана, Дураса. В том же году он играет свою первую в жизни партию с часами. Соперником Левенфиша оказался студент Консерватории, которому прочили блестящую будущность. Это был Сергей Прокофьев. Левенфиш заметно усиливается, и на турнире в Карлсбаде в 1911 году становится мастером. В Карлсбаде же играл совсем молодой Алехин, которого Левенфиш уже хорошо знал по Петербургу. Закончив гимназию в Москве, Алехин переехал в Петербург и поступил в привилегированное училище правоведения. В этот период вплоть до 1914 года Левенфиш был постоянным партнером Алехина; они сыграли не одну турнирную и множество легких партий.

Григорий Левенфиш: «Такого интересного партнера, как Алехин, я не встречал за всю свою жизнь. Играл Алехин с большим нервным напряжением, непрерывно курил, все время дергал прядь волос, ерзал на стуле. Но это напряжение удивительным образом стимулировало работу мозга. Богатство идей в творчестве Алехина общеизвестно. В легких, неотвественных партиях оно проявлялось, мне кажется, еще ярче. Перевес в наших встречах был на стороне Алехина. Малейшее ослабление внимания влекло за собой тактическую выдумку моего партнера, и исход партии не вызывал сомнений. Алехин обладал феноменальной шахматной памятью. Он мог восстановить полностью партию, игранную много лет назад. Но не менее удивляла его рассеянность. Много раз он оставлял в клубе ценный портсигар с застешкой из крупного изумруда. Через два дня мы приходили в клуб, седи-

лись за доску. Появлялся официант и как ни в чем ни бывало вручал Алехину портсигар. Алехин вежливо благодарил...»

Первая мировая война, потом революция, Гражданская война... Левенфиш стал свидетелем событий, во многом определивших ход мировой истории. Событиям этим в своих мемуарах он посвятит всего несколько строк, но они как бы подведут черту первого периода его жизни: «В бурные военные и революционные годы немало пришлось пережить. Я работал на военных заводах, а иногда оставался совсем без работы. В 1917 году скоропостижно умерла моя жена. О шахматах, конечно, нельзя было и думать».

Ему было двадцать восемь лет. Начался второй период его жизни. В книге Моэма «Подводя итоги», строки из которой взял Левенфиш для своего эпиграфа, можно найти и другие: «...мы живем в эпоху быстрых перемен, и возможно, что я увижу еще западные страны под властью коммунизма. (...) Если то, что произошло в России, повторится у нас, я постараюсь приспособиться, а уж если жизнь покажется мне совсем невыносимой, у меня, я думаю, хватит мужества уйти со сцены, на которой я больше не мог бы играть свою роль так, как мне нравится». Красивые слова, конечно. Другие, безыскусные – «я оставался в живых», сказанные в далекую, но тоже полную бурь эпоху, стали ориентиром для Левенфиша на долгие годы. Он стал гражданином Советской республики, географически размещавшейся на территории России, где он жил раньше, но на этом сходство и заканчивалось.

Если отрешиться от мрачной мысли, что карты перетасованы заранее и что человек имеет лишь иллюзию свободы выбора, и что бы он ни выбрал, он заранее обречен на проигрыш, будущее всегда выглядит как набор возможностей. Отсутствие выбора означает предопределенность и обреченность. Свобода выбора сузилась тогда не только в смысле перемещения в пространстве, но – главное – волеизъявления: тоталитарное государство вмешивалось во все аспекты жизни каждого члена его, подчиняя своим правилам и законам. Единственная возможность сохранить свою индивидуальность была одна – то, что французы называют *rester soi-meme*. Но оставаться самим собой было непросто: для того, чтобы отстаивать свою духовную независимость, требуется мужество в любом обществе, но многократно требовалось оно при строе, установившемся тогда в России.

Хотя он формально и не подпадал под категорию «буржуй», фактически он был им в глазах тех, кто пришел теперь к власти. Александр Блок писал в те первые годы советского государства: «Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные».

Слова государственного обвинителя Крыленко на одном из первых процессов в 1920 году звучали приговором его кругу людей: «Существовал и продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма. Этот слой – так называемой интеллигенции... В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции».

Многие из его коллег оказались в эмиграции. Сладкого счастья свободы, а иногда и пыльного хлеба эмиграции он не вкусил никогда. Он остался. Что бы он делал, если бы покинул страну? Играл бы в шахматы, как Алехин и Боголюбов? Совмещал бы практическую игру с журналистикой, писанием книг, как это делали Тартаковер и Зноско-Боровский? Или, работая по специальности, как Осип Бернштейн, играл бы в турнирах время от времени?

В феврале 1924 года в советскую Россию приезжает Ласкер. В Ленинграде он играет серию показательных партий и дает два сеанса одновременной игры. Во время одного из них в зале можно было заметить мальчика, который только несколько месяцев назад научился играть в шахматы. Ему двенадцать лет. Это – Миша Ботвинник. Соперник Ласкера в одной из показательных партий – Левенфиш, которого Ласкер помнит еще по старым дням Петербурга. Левенфиш прекрасно говорит по-немецки, и они проводят немало времени вместе. В следующем году они встретятся снова на Первом международном турнире в Москве. В глубоком эндшпиле Ласкер ошибается, теряет важный темп, и Левенфиш добивается победы.

Незадолго до этого турнира Левенфиш получил письмо от Алехина, эмигрировавшего в 1921 году и уже несколько лет жившего во Франции. Оно начиналось так: «Многоуважаемый Григорий Яковлевич! Очень рад был получить Ваше письмо и также жалею, что не придется с Вами повидаться на московском международном турнире. Впрочем, может быть, Вы соберетесь на какой-либо международный турнир за границей в будущем году! Не

сомневаюсь, что при заблаговременном оповещении Ваше участие будет обеспечено в любом международном турнире, во-первых, потому, что Вас лично любят и ценят, во-вторых, потому, что в настоящий момент русское шахматное искусство на международном рынке котируется особенно высоко. Тогда, надеюсь, нам удастся после долгого перерыва лично свидеться». Свидеться им не удалось. Путь в советскую Россию Алехину был заказан, в турнирах же вне ее Левенфиш не играл никогда.

В стране начинается шахматная горячка. Энергия масс в молодой стране Советов направлена среди прочего и на шахматы. Александр Алехин, жонглировавший неоднократно своими политическими привязанностями, отвечает в этот период на вопрос журналиста: «Чем можно объяснить небывалый интерес к шахматам в советской республике?» – встречным вопросом: «А что же им еще делать?» После завоевания им звания чемпиона мира в 1927 году, на чествовании в Потемкинском шахматном кружке в Париже, Алехин заявил, что период развития шахматной игры в России совпал с «периодом политического угнетения, когда одни ищут в шахматах забвения от политического произвола и насилия, а другие черпают в них силы для новой борьбы и закаляют волю».

Ответ Крыленко в мартовском номере «Шахматного листка» за 1928 год был предельно ясен и касался не одного Алехина: «С гражданином Алехиным у нас теперь покончено, – он наш враг, и только как врага мы отныне можем его трактовать. Ну что же, туда и дорога Алехину. Мы не придаем, конечно, особого значения угрозам и чаяниям Алехина, – на этот счет мы имеем более объективные данные, достаточные для того, чтобы всем этим угрозам и чаяниям противопоставить лишь презрительную усмешку. Но одно должны мы сделать как вывод из поведения Алехина: все, кто еще у нас в СССР среди шахматных кругов лелеяли надежду на то, что когда-нибудь Алехин вернется, должны сейчас эти надежды оставить. Вместе с тем они должны сделать отсюда ряд выводов и для себя и для своего практического поведения. Прикрываясь ссылками на то, что в Алехине они ценят только шахматный талант, некоторые из наших шахматных работников и даже издательств позволяют себе поддерживать сношения с Алехиным. (...) Алехин – наш политический враг, и это не может

и не должен забывать никто. Тот, кто сейчас с ним, хоть в малой степени – тот против нас. Это мы должны сказать ясно, и это должен каждый понять и осознать. Талант талантом, а политика политикой, и с ренегатами, будь то Алехин, будь то Боголюбов, поддерживать отношений нельзя».

В двадцатых – тридцатых годах в Ленинграде было три мастера еще старой дореволюционной гранки, три мэтра, которые определяли шахматную жизнь города – Романовский, Илья Рабинович и Левенфиш, причем по силе игры Левенфиш превосходил обоих и пользовался огромным авторитетом. Вышедшая в 1933 году книга Романовского «Пути шахматного творчества» была посвящена Левенфишу и во многом, по признанию автора, инспирирована им. Левенфиш мог сыграть в турнире и неудачно, но его огромная эрудиция и тонкое понимание игры были общеизвестны. Не случайно Толуш сказал однажды ленинградскому мастеру Дмитрию Ровнеру: «Левенфиш может сыграть как угодно, но все равно, понимает он в шахматах больше всех нас».

Свою первую встречу с ним Володя Зак запомнил на всю жизнь и нередко рассказывал ее в лицах. В клубе советских служащих Петр Арсеньевич Романовский подвел его, робеющего, к столику, за которым играл блиц Левенфиш: «Познакомьтесь, Григорий Яковлевич, это – Володя Зак».

«Как же, как же...» – отвечал Левенфиш, не отрываясь от игры.

«Володя подает большие надежды...»

«Знаю, знаю, – продолжал маэстро, делая ход, – Володя Зак, сын старого Зака...»

В 1926 году в командных соревнованиях профсоюзов в Ленинграде Левенфиш играет партию с застенчивым худеньким подростком с не по возрасту серьезным взглядом из-под круглых роговых очков. Мальчику пятнадцать лет, но у него уже первый разряд, что совсем немало по тем временам, к тому же в прошлом году в сеансе он разгромил самого Капабланку. Мальчика зовут Миша Ботвинник. Партия длится недолго: Левенфиш черными разыгрывает дебют совсем не по теории, развивает коня через h6 на f5 и наносит удар на d4. На 16-м ходу все кончено... Результат этой партии, впрочем, никого не удивил: признанный мастер победил только начинающего свой шахматный путь юношу. Партию эту Ботвинник не забыл, он вообще был не из тех, кто что-либо забывает. Левенфиш не мог предполагать тогда, что этот мальчик че-

рез пять лет станет чемпионом Советского Союза, и что конфронтацией с ним будет отмечен весь его жизненный путь.

Среди разнообразной гаммы оттенков отношения евреев к своей национальности Григорий Яковлевич Левенфиш занимал позицию, очень схожую с таковой своего сверстника Бориса Пастернака. Крещеный еврей, петербуржец по духу, Левенфиш был равнодушен и к вопросам религии, и к вопросам национальной принадлежности, растворившись полностью в русском языке, культуре, образе жизни, принятом в России.

Высокий, представительный, в очках, замкнутый, с виду настороженный и недоступный, почти для всех саркастичный и даже язвительно-желчный, Григорий Яковлевич Левенфиш на самом деле был жизнерадостным и остроумным человеком. Для тех немногих, кто знал его близко и был близок ему, – отзывчивым и мягким. По-старомодному вежливым и галантным с женщинами, к улыбкам которых был неравнодушен всю жизнь. Меломан и друг музыкантов, он был очень эмоционален и азартен. Его нередко можно было увидеть за карточным столом.

Вспоминает Леонид Финкельштейн, писатель и журналист, уже долгое время живущий в Лондоне: «Левенфиш приходил к нам по вечерам, красивый, пахнувший одеколоном, безупречно одетый. Я следил за ним с восхищением, а однажды даже, набравшись храбрости, предложил ему сыграть в шахматы. Он отверг мое предложение вежливо, но решительно, однако в матче Левенфиш – Илья Рабинович я все равно болел за него. Перед тем, как сесть за игру, он обычно выпивал рюмку водки и закусывал бутербродом с семгой. Мой отец, профессор математики, и его коллеги были партнерами Григория Яковлевича по карточной игре – преферансу или винту. Я спал здесь же, конечно, в той же комнате обычной ленинградской коммунальной квартиры. Яркий свет от лампы с абажуром несколько не мешал мне, и я не просыпался, когда они расходились глубокой ночью, а иногда и под утро».

Но в отличие от другого представителя его поколения, Савелия Тартаковера, немало времени проводившего в казино, Левенфиша, как мне кажется, влек к картам не только элемент умственной борьбы и азарт игрока. Для него и для людей его поколения и представителей той же культурной среды встречи за карточным столом, контакт друг с другом были одной из немногих возмож-

ностей уйти от мрачайшей повседневности в свой, другой мир. От действительности, где не было свободы высказывания, к чему они были приучены раньше, – в мир, куда не было доступа тоталитарному государству, не научившемуся еще контролировать мысль. С ними случился своего рода анабиоз, бывающий у рыб зимой; так и они в это страшное время, стараясь не думать о том, что происходит вокруг, говорили карточными терминами или о ничтожных вещах, похоронив внутри себя совсем другое. Для того, чтобы выжить, они должны были или конформировать, или мимикрировать, и не было готовых рецептов, как достойно прожить жизнь в то кроважидное время. Конформизм означал потерю души, мимикрия же приводила к перениманию черт и черточек, привычек и обычаев окружающей среды. Может быть, поэтому, когда я застал еще людей этого сорта в Советском Союзе в 60-х годах, они не казались мне инопланетянами, а выглядели обычными людьми, разве что с вкраплениями чего-то, на чем невольнo останавливался взор и слух, привыкшие к серости и однообразию.

Во время московских международных турниров Левенфиша не раз можно было увидеть с Капабланкой за игрой в теннис. Высокий, элeгантный, в белом теннисном костюме, он появлялся на корте в ту пору, когда этот спорт был действительно элитарным, особенно в Советском Союзе. Там предпочитали многотысячные парады физкультурников, показательные воздушные праздники в Тушино, массовые забеги, оздоровительные упражнения в Парках культуры и отдыха или футбольные матчи Динамо – ЦДКА.

Он не был безразличен к вину. Но не в том глобальном саморазрушительном смысле, что было характерно, например, для Алехина; для него это было, скорее, отношение знатока, гурмана, ценителя. В подготовке к матчу с Ботвинником в 1937 году принимал участие московский мастер Сергей Белавенец. Проводилась она на Черном море, в Крыму, в Коктебеле. Левенфиш вспоминал впоследствии: «Мы располагались днем на пляже и принимались за анализы. В перерывах мы погружались в морские волны. В такой обстановке не могло быть и речи о «сухих анализах». Хотя, кто знает, быть может, отношение к вину было у него сродни отношению китайского философа, много веков назад прибежавшего к вину, чтобы размочить сухой ком, который всегда

стоял у него в горле. В состояние транса, впрочем, в то время можно было впасть, и не прибегая к алкоголю. Известно ведь, что Сократ мог выпить сколько угодно вина, но хмелел от самой обыкновенной лжи.

В период с 1926 по 1933 годы Левенфиш почти не выступает в соревнованиях. Эпизодическую игру в турнирах он пытается совместить с работой по специальности. Это логически вытекало из решения, принятого еще в декабре 1913 года, когда Левенфиш, принимая участие в мастерском турнире, отборочном к большому Петербургскому турниру 1914 года, по ночам готовил защиту дипломного проекта в институте.

Он был химиком, специалистом по стеклу, и работал по специальности, оставаясь в шахматах любителем, аматером. Слово это, первоначально имевшее один только смысл, именно, «тот, кто любит», приобрело постепенно некоторый негативный оттенок, особенно в устах профессионалов и шахматных профессионалов, в частности. Тогда же, в начале 30-х годов, молодые советские шахматисты, уже отдававшие львиную долю своего времени шахматам, смотрели на Левенфиша примерно так же, как профессионалы Запада на Эйве, ставшего чемпионом мира, не оставляя при этом работу учителя математики в женском лицее в Амстердаме. Впоследствии сам Левенфиш скажет: «При современном уровне развития шахмат поддерживать свою технику на должной высоте можно лишь при одном условии: заниматься только шахматами. Падение класса неизбежно при отсутствии практики и не может быть компенсировано домашней аналитической работой». И все же долго, очень долго он не хотел уходить в шахматы, пытаясь комбинировать игру с основной работой. Конечно, он не хотел покидать тот круг профессорско-преподавательской среды петербургской интеллигенции, который сложился в городе в первое десятилетие советской власти, — его круг. Круг людей, пытавшихся, как и он, удержаться на маленьком островке русской культуры, уже размытом и погибающем.

Но не это, как мне кажется, было главное. Любя шахматы и во многом живя ими, он не хотел посвятить жизнь исключительно игре, полагая такое решение правильным только для немногих избранных. Это пришло, конечно, еще из XIX века, когда шахматы были скорее развлечением, интеллектуальной забавой, наряду

с главным, серьезным занятием, и не могли и не должны были быть профессией. Ласкер писал: «Конечно, шахматы, несмотря на их тонкое и глубокое содержание, являются лишь игрой и не могут требовать к себе такого же серьезного отношения, как наука и техника, которые служат насущным потребностям общества; еще менее их можно сравнивать с философией и искусством». Незадолго до смерти Чигорин говорил своим близким: «К чему вообще шахматы? Если это удовольствие, то оно должно проходить как развлечение, после трудовых часов. Ведь нельзя же заполнять свою жизнь интересом к игре, изгнав все прочее. Посмотрите на иностранцев: тот – доктор, тот – профессор, тот – издатель... Работают и поигрывают. А я?»

Такое отношение было характерно и ко многим другим видам творческой деятельности. «У меня музыка – отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего настоящего дела – профессуры, лекций», – писал Александр Бородин, тоже химик по профессии.

«Связь, которая объединяет человека со своей профессией, может быть сравнима с той, которая связывает его со своей страной; она также многосторонняя и иногда противоречива, и становится понятной только тогда, когда прерывается: ссылкой или эмиграцией в случае проживания в стране, уходом на пенсию – в случае профессии. Я оставил профессию химика уже пару лет, но только сейчас чувствую, скольким я обязан ей, и как много ей благодарен. Я хотел бы сказать еще, какими преимуществами я обладаю благодаря ей, и какое отношение она имеет к моей новой профессии – писательству. Я должен сразу уточнить: писательство – это не настоящая профессия, или, по моему мнению, не должно быть таковым – это, скорее, творческая деятельность», – полагал Примо Леви, коллега Левенфиша по профессии, тоже химик, после того как окончательно оставил свою основную профессию и полностью перешел на литературную деятельность. Вероятно, что-то похожее чувствовал и Левенфиш по отношению к шахматам. Впрочем, на этом сходство и кончается. Если у замечательного итальянского писателя решение это было осознанным актом, в случае Левенфиша оно было скорее вынужденным.

Авария на железной дороге, вызванная несработавшим семафором, была расценена, как вредительский акт. Левенфиш был взят в тот же день и выпущен только после многочасового допро-

са в ГПУ. Поданная за несколько месяцев до происшествия докладная об изменении технологического процесса производства стекла спасла его от тюрьмы. Но надолго ли? Само слово «специалист», «спец» было почти равнозначно слову «вредитель». Сообщениями о процессах над «саботажниками» и «вредителями» были наполнены все газеты того времени. На закончившемся в 30-м году процессе так называемой «Промышленной партии», руководство которой обвинялось в том, что получало секретные инструкции от Пуанкаре и Лоуренса Аравийского с целью расшатать индустриальную мощь страны Советов и подготовить почву для иностранной агрессии против молодого Советского государства, обвинитель Николай Крыленко говорил: «Я твердо уверен, что небольшая антисоветская прослойка еще сохранилась в инженерных кругах... В эпоху диктатуры и окруженные со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность...» Тогда же он писал: «Для буржуазной Европы и для широких кругов либеральствующей интеллигенции может показаться чудовищным, что Советская власть не всегда расправляется с вредителями в порядке судебного процесса. Но всякий сознательный рабочий и крестьянин согласится с тем, что Советская власть поступает правильно».

Левенфиш принимает решение: он полностью уходит в шахматы. Начинается его карьера профессионального шахматиста.

Шахматы, в которых он очутился, были совсем не похожи на те, в которые он играл в Петербурге в 1909-м или в Карлсбаде в 1911 году. Друзьями и шахматными коллегами его молодости были: барон фон Фрейман, мастер с 1911 года, участник и призер многих турниров, оказавшийся после революции в Средней Азии, другой барон – Рауш фон Таубенберг – один из сильнейших игроков Университета, долгое время державшийся на плаву в Советской России, но очутившийся в конце концов в карагандинском лагере, профессор Борис Михайлович Коялович, принимавший экзамен по математике еще у студента Левенфиша, Петр Потемкин – поэт и шахматист, эмигрировавший после революции. Кружок его имени до сих пор существует в Париже; именно Потемкину обязана своим девизом – «*Gens una sumus*» – Международная шахматная федерация. Сергей Прокофьев, страстно любивший шахматы, киевлянин Федор Богатырчук, регулярно наезжавший в

поддерживало молодое, такое удивительное государство, которое, казалось, строится на века.

Нам нет преград ни в море, ни на суше,

Нам не страшны ни льды, ни облака.

Пламя души своей, знамя страны своей

Мы пронесем через миры и века.

Журнал «Шахматы в СССР» писал в 1936 году: «Советский шахматный стиль, как это уже общеизвестно, отличается агрессивностью. (...) Разве вообще для советского стиля не характерна прежде всего борьба? Советский стиль – это стахановское движение. А стахановское движение – это борьба и победа. Сталин требует побед! И стахановцы борются и побеждают. Побеждают, овладевая техникой. Техника – их оружие. Также и в шахматах теория игры, все знания и принципы – это оружие борьбы. Шахматная теория, шахматные анализы и комментарии, шахматная композиция – все это играет служебную и подчиненную роль по отношению к основному в шахматах – шахматной партии, которая есть ни что иное, как борьба». Трескучая фразеология с очевидным агрессивным оттенком, перенесенная в шахматы, присутствовала всегда и в речах наркома юстиции и бессменного главы советских шахмат Николая Крыленко. «Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу «Шахматы ради шахмат» как формулу «Искусство для искусства». Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам», – провозглашал он в те дни.

Крыленко был одиозной фигурой, доктринером и фанатиком, страстно любившим шахматы и альпинизм. Еще до 1917 года он закончил два университета: – историко-филологический факультет в Петербурге и юридический в Харькове. Решением Ленина 32-летний прапорщик Крыленко был назначен Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам. В период с 1924 и до ареста в 1938 году он стоял во главе советских шахмат, которые ему обязаны очень многим. «Главковерхом советской шахматной школы» называл его Ботвинник. В одном из номеров журнала «64» за 1927 год был напечатан призыв о сборе взносов на постройку самолета, названного именем Крыленко.

В 1936 году во время Третьего московского турнира он писал: «Пусть знает буржуазия всего мира и все ее прихвостни внутри и

вне нашей страны: у нас не дрогнет рука, чтобы беспощадно раздавить извивающуюся гадину контрреволюции, стереть с земли всякого, кто посмеет стать на дороге нашего планового социалистического строительства». Крыленко был казнен во времена Большого террора, но до этого сам отправил на эшафот тысячи невинных людей. «Бритая голова с резкими чертами лица, пронизательные глаза, свободная, небрежная речь с аристократическим грассированием, неизменные френч и краги – таков был внешний облик одного из популярных соратников Ленина. Добрый, справедливый, принципиальный и шахматы любил безумно». Таким запомнился Крыленко Ботвиннику. Но не всем. В 1918 году в Москве он произвел на Брюса Локкарта, впоследствии заместителя министра иностранных дел Великобритании, впечатление «дегенерата-эпилептика», а Иванов-Разумник, сидевший с Крыленко в 1938 году в одной тюремной камере, называет его «пресловутым и всеми презируемым Народным комиссаром юстиции», вспоминая, что и место ему было отведено соответствующее: под нарами...

Своего идеологического пика шахматы достигли в 1936 году, когда «Правда» посвятила передовую статью победе Ботвинника в Ноттингеме. Газета писала: «Единство чувств и воли всей страны, огромная забота о людях советской власти, коммунистической партии и прежде всего товарища Сталина, – вот первоисточники побед советской страны, будь это в области завоевания воздуха, на спортивных стадионах Чехословакии или за шахматными столиками Ноттингема. Сидя за шахматным столом в Ноттингеме, Ботвинник не мог не чувствовать, что за каждым движением его деревянных фигурок на доске следит вся страна, что вся страна, от самых углов до кремлевских башен, желает ему успеха, морально поддерживает его. Он не мог не ощущать этого мощного дыхания своей великой родины».

В 1936 году была принята Конституция СССР. В том же году Союз писателей предлагал такое деление поэтов: первые – только по паспорту, а не по духу советские. К ним, в числе прочих, отнесли Мандельштама. Вторые – «гостящие» в эпохе, к которым определили Пастернака. И, наконец, – настоящие советские поэты.

Если провести аналогию с шахматами, Левенфиш попадал в первую, в лучшем случае во вторую категорию, в то время как Ботвинник, без сомнения, составлял гордость третьей.

«В девять лет я начал читать газеты и стал убежденным коммунистом. Стать комсомольцем было трудно – школьников почти не принимали. Я долго этого добивался (брат уже был комсомольцем) и наконец в декабре 1926 года стал кандидатом в члены комсомола», – писал Ботвинник в своих воспоминаниях.

Слова Крыленко, сказанные после матча Ботвинник – Флор в 1933 году: «Ботвинник в этом матче проявил качества настоящего большевика», – навсегда останутся для него высшей похвалой.

Он не предполагал размаха и ужаса террора и гордился сталинскими словами «Молодцы, ребята», сказанными по поводу выигранного радиоматча СССР – США в 1945 году, и говорил с пиететом о власть имущих, в действительности ничтожных, а порой – отвратительных.

«Шахматы ничем не хуже скрипки», – утверждал Ботвинник не раз, и поэтому игра в шахматы требует абсолютной тишины. Идеальные условия были достигнуты в Колонном зале Дома Союзов в Москве в 1941 году во время матча-турнира на звание абсолютного чемпиона СССР. Ботвинник: «...по среднему проходу гулял блюститель порядка в милицмейской форме. Один раз недисциплинированный зритель был выведен и оштрафован».

«Я не думаю, что Левенфиш был антисоветчик», – говорил Ботвинник, когда я в начале 90-х годов расспрашивал его о событиях более чем полувекковой давности. И хотя Советский Союз уже не существовал, слово антисоветчик он произносил так, что от того веяло холодом 58-й статьи уголовного кодекса. Определения же «верный ленинец», «старый большевик», «советский» выговаривались им гордо и торжественно, хотя тогда они давно изжили себя и имели прогорклый привкус, который нельзя было заглушить ничем. Впрочем, несмотря на ортодоксальность мышления и категоричность суждений, любил цитировать в близком кругу формулу пушкинского Савельича, советовавшего, как известно, поцеловать у злодея ручку, а потом и сплюнуть.

Но нет сомнений в искренности его, когда он описывает фишиш второго московского турнира 1935 года: «Наконец подошел и последний тур. Мы с Флором наравне. Я должен играть черными с Рабиновичем. Флор – с Алаторцевым. Стук в дверь, и входит Николай Васильевич Крыленко: «Что скажете, – спрашивает он, – если Рабинович вам проиграет?» – «Если пойму, что мне дарят очко, то сам подставляю фигуру и тут же сдам партию». Крыленко

посмотрел на меня с явным дружелюбием: «Но, что же делать?» – «Думаю, что Флор сам предложит обе партии закончить миром; ведь нечто подобное он сделал во время нашего матча». Обе партии закончились вничью, и Ботвинник разделил с Флором первое место.

В предисловии книги об этом турнире Крыленко напишет: «СССР победил в лице М.М. Ботвинника буржуазную шахматную культуру, поскольку его единственный конкурент, вышедший вместе с ним на первое место, Флор, не завоевал по существу этого первого места, а получил его в виде своеобразного подарка от советских мастеров Кана и Богатырчука, нанесших поражение Ботвиннику и тем позволивших Флору сравняться со своим конкурентом. Эти поражения, нанесенные Ботвиннику, показательны и в том отношении, что они выявляют еще одно, свойственное нашим шахматистам качество, – их спортивную честность, не позволившую им ни на йоту покривить душой в борьбе, хотя бы из соображений ложно понятого патриотизма».

«Был всегда, как одинокий одичалый волк», – говорил Ботвинник в ответ на мои расспросы о Левенфише, а когда я пытался вставить что-то о волке, которого травили и не пускали за заграждения, отвечал, что не уверен, так ли это важно, и неодобрительно качал головой.

«В конце концов ему уж и не так плохо жилось в Советском Союзе», – утверждал он и смотрел на меня сквозь толстые стекла очков. И взор этот выражал: он же выжил, не был репрессирован, был известным человеком в стране, он не бедствовал в прямом смысле этого слова, а в отношении остального, – что ж вы хотите, тогда время было такое. И по-своему был прав.

«Не было, не было и быть не могло, чтобы на Левенфиша могло быть оказано давление, дабы он проиграл мне партию», – сердился Ботвинник, когда заходила речь о последнем туре московского международного турнира 1936 года. Капабланка, соперником которого был Элисказес, опережал Ботвинника на пол-очка, но тому предстояла партия с Левенфишем. «Положение ваше затруднительно. Все поклонники Ботвинника жаждут вашего поражения, – говорил Капабланка Левенфишу во время прогулки в саду у кремлевской стены в день тура, – не беспокойтесь, я вас выручу и выиграю у Элисказеса». Он действительно выиграл у Элисказе-

са, а партия Левенфиша с Ботвинником закончилась вничью. Рассказывая об этом эпизоде в книге, Ботвинник с плохо скрываемым раздражением употребляет странно звучащий по-русски оборот: «Левенфиш позволил себе распустить слух, что его заставляют проиграть в последнем туре». Но чем больше он сердился и говорил «не было», тем становилось очевиднее: было, было.

На многих страницах его книги можно найти ситуации, когда исход партии предлагалось решить не за шахматной доской, потому что речь шла о престиже советских шахмат и, как следствие, всего советского государства. Перед началом московской половины матча-турнира на мировое первенство 1948 года Ботвинника вызвали на заседание секретариата ЦК партии. Проводилось оно под председательством Жданова – одного из ближайших приближенных Сталина. В последней редакции своей книги Ботвинник так рассказывает об этом: «Но все же мы опасаемся, что чемпионом мира станет Решевский, – сказал Жданов. – Как бы вы посмотрели, если бы советские участники проигрывали вам нарочно?» Я потерял дар речи. Для чего Жданову надо было меня унижать? За последние годы я играл в семи турнирах и во всех был первым, продемонстрировав явное превосходство над своими противниками... Снова обретаю дар речи и отказываюсь наотрез. Однако Жданов продолжает настаивать, а я отказываюсь. Беседа оказалась в тупике. (...) Чтобы кончить спор, предлагаю компромисс: «Хорошо, оставим вопрос открытым, может быть это и не понадобится?» Жданов явно обрадовался возможности такого решения. «Согласен, – сказал Жданов, – мы ВАМ, – на этом слове он сделал ударение, – желаем победы...»

Ботвинник искренен и абсолютно уверен в своей правоте, когда неоднократно говорит о своих письмах, телефонных звонках и обращениях к людям, имена которых знал каждый в Советском Союзе и мнения которых были выше каких бы то ни было законов. С другой стороны, телефонный звонок партийного бонзы с целью отложить из-за болезни Таля начало матча-реванша в 1961 году вызывает у него гневную реакцию: «Это вмешательство в шахматы со стороны власть имущего меня возмутило, и я потерял самообладание». Надо ли говорить, что матч-реванш начался точно в срок.

Любая дискуссия о тех временах исключалась. Я натыкался на стену; его мнение, сформировавшееся раз и навсегда, оставалось

незыблемым. Если же я настаивал или применял, как мне казалось, сильные аргументы, разговор заканчивался реакцией, аналогичной сталинской во время телефонного разговора с Пастернаком, когда в ответ на предложение поэта встретиться и поговорить о жизни и смерти, вождь просто повесил трубку.

В августе 1991 года в Брюсселе журналист, уже закончив интервью, спросил его: «Понятно, что вы сейчас не можете бороться за первенство мира, но почему бы вам иногда не публиковать или не поиграть в шахматы просто так, для своего удовольствия?»

«Молодой человек, – отвечал Ботвинник, не глядя на того, – запомните: я никогда не играл в шахматы для своего удовольствия». Вспомнилось кантовское: «Никогда не может быть истинного удовольствия там, где удовольствия превращаются в занятия». В его случае объяснение, как мне кажется, очевидно: он всегда, даже в молодые годы, относился резко отрицательно к блицу, шлепанью по доске фигурами, легковесности. Но такое объяснение недостаточно: не для удовольствия играл Ботвинник, но следовал предназначению, считая, что выполняет дело жизни, дело, которое доверила ему Родина.

Книга воспоминаний Ботвинника называется «К достижению цели». Цель в жизни у него была одна: завоевание для своей страны звания чемпиона мира. И он шел к ней, сметая все преграды, но задумывался ли он о смысле?

Об этом – Надежда Мандельштам: «Цель и смысл не одно и то же, но проблема смысла в молодости доступна немногим. Она постигается только на личном опыте, переплетаясь с вопросом о назначении, и потому о ней чаще задумываются в старости, да и то далеко не все, а только те, кто готовится к смерти и оглядывается на прожитую жизнь. Большинство этого не делает».

Книга «К достижению цели» первоначально носила название «Только правда». События и факты, пропущенные через призму собственного ботвинниковского «Я», казались ему единственно истинными. Слова Руссо: «Может быть, мне случалось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но я никогда не выдавал за правду заведомую ложь», показались бы ему слишком мягкими. Зато другие, Марко Поло: «Все, что рассказал о саламандре, – то правда, а иное, что рассказывают, – то ложь и выдумка», могли бы стать достойным эпиграфом его книги.

Вместе с тем был он теплым и участливым к тем, кого считал

своими друзьями, требовательным, но опекающим и заботливым, если речь шла об учениках, вежливым и учтивым в быту. И те, кто знали его с какой-либо одной стороны, твердо держались за своего Ботвинника.

Он цитировал время от времени русских классиков, которых помнил еще со школьных времен. Юмор его был по-детски неприязнителен («Как спали, Михаил Моисеевич?» – «А нисево, нисево...»). Одевался скромно, был очень аккуратен и в быту неприхотлив до аскетизма. «Как вы думаете, Геннадий Борисович, сколько лет этим шлепанцам?» На вид домашние тапочки были куплены в Гронингене в 1946 году, что, как оказалось, было не так и далеко от действительности.

Гордость за советскую родину сочеталась у него с безграничным уважением к предметам, приобретенным за границей. Перед турниром в Ноттингеме в 1936 году Ботвинник с женой был несколько дней в Лондоне. «За пять фунтов жена становится владелицей изящного бежевого костюма (ту писес). Сносу костюму не было – двадцать лет спустя его донашивала дочь, когда ходила в туристские походы».

Форсунка для отопления дачи, «но только чтобы обязательно со шведской станиной, только со шведской», бесперебойно работала в течение 17 лет, а паровой котел, заменивший ее и купленный в Германии, был настолько высокого качества, что Ботвинник «стал популярен среди сотрудников Одинцовского газового хозяйства». Рассказы о покупках за границей с десяти, а то и двадцатипроцентной скидкой, умелых переговоров по этому поводу, памятный приезд в Ноттингем в 1936 году: «...от пансиона я отказался; шутка ли, неделю платить втридорога за двоих – это было не по моим правилам!» превращали его в милого советского туриста, которого на мякине не проведешь.

В последней редакции, просмотренной им за несколько месяцев до смерти, его книга стала называться «У цели», на что Смыслов не без сарказма спрашивал: «А у какой, собственно говоря, цели?» Книга расширена, по сравнению с предыдущей; даны последние события, реабилитирован Бог, пишущийся с большой буквы, как принято сейчас в России. Это звучит диссонансом со всем содержанием книги, но он покорно согласился на нововведение: «Пусть будет так, хотя мне это совершенно безразлично». Незадолго до смерти он сказал: «Да, я коммунист в духе первого ком-

муниста на Земле – Иисуса Христа». Он был, разумеется, верующим человеком, только верил в некую абстракцию, пропущенную через призму собственного «я», собственного предназначения, собственной правды.

Он – победитель. Он – достиг своей цели. Подводя итоги, он говорит об этом в самом конце книги: «Да, условия, в которых действуют люди, меняются. Они со временем растворяются в истории, а подлинные достижения остаются». Он не растворился и не изменился. На последних страницах книги он все тот же – ученик 157-й единой трудовой школы Ленинграда, комсомолец Миша Ботвинник. Он совсем не изменился за семьдесят лет и, слушая его искренний и страстный монолог, задумываешься поневоле над конфуцианским: «Лишь самые умные и самые глупые не могут измениться».

Мнительный и подозрительный, обладавший железной волей и редкой целеустремленностью, сотканный из противоречий, он был в то же время очень цельной натурой. И когда он садился за шахматную доску или писал о шахматах, Михаил Ботвинник становился тем, кем навсегда останется в истории игры: одним из самых выдающихся чемпионов, поднявших шахматы на качественно новую ступень всестороннего изучения и глобальной подготовки.

Шахматы, как и все тогда в молодой республике Советов, были пронизаны идеологией: инструкциями, обязательствами, лозунгами и призывами. Но по сравнению например, с литературой, историей, философией или наукой была и разница. Она заключалась в самих шахматах. В честном поединке за доской, в самой игре, правила и принципы которой остаются неизменными на протяжении нескольких веков, игре, о которой Ласкер сказал: «На шахматной доске лжи и лицемерию нет места. Красота шахматной комбинации в том, что она всегда правдива. Беспощадная правда, выраженная в шахматах, ест глаза лицемеру». И поэтому в шахматах в Советском Союзе, в отличие например, от литературы или биологии, не было искусственно созданных авторитетов или раздутых величин, ничтожных писателей, имена которых гремели тогда и полностью забыты сегодня. Поэтому и для Левенфиша, как и для многих до и после него в Советском Союзе, уход в шахматы означал уход в убежище. В укрытие, где несмот-

ря ни на какие внешние помехи и факторы, в конечном счете решает твое умение и понимание событий, происходящих на 64-х клетках доски.

Когда Левенфиш стал шахматным профессионалом, ему было сорок четыре года – случай уникальный для шахмат. Конечно, он был уже очень сильным игроком с огромным опытом, но сейчас ему впервые в жизни представилась возможность вплотную и серьезно заняться шахматами. И результаты не замедлили сказать: Левенфиш выигрывает вместе с Ильей Рабиновичем 9-й чемпионат Советского Союза, оставив позади все молодое поколение – Алаторцева, Белавенца, Кана, Лисицына, Макогонова, Рагозина, Рюмина, Чеховера, Юдовича. Всех, кроме Ботвинника, который в турнире не участвовал.

Левенфиш играет в московских международных турнирах – 35-го и 36-го годов. Хорошие партии чередуются у него с грубыми «зевками», нередко в выигранных позициях, как, например, в партии с Чеховером из турнира 35-го года, когда победа на финише выводила его на самый верх турнирной таблицы. Интересно протекают его партии с Ласкером. Две из них заканчиваются вничью, партию второго круга турнира 1936 года, их последнюю встречу, выигрывает Ласкер, взяв реванш за поражение в первом московском турнире 1925 года.

Но Левенфиш встречается с Ласкером не только за шахматной доской. Бывший чемпион мира постоянно жил в Москве в то время. Если инфляция в Германии после Первой мировой войны разрушила его материальное благополучие, то теперь приход к власти Гитлера означает угрозу непосредственно его жизни. Ласкер всерьез задумывается об эмиграции. Он – сын кантора и внук раввина; не случайно поэтому первая мысль – Палестина. Там уже побывала Эльза Ласкер, бывшая замужем за Бертольдом Ласкером, старшим братом Эмануила, берлинским врачом. Через некоторое время она, значительная немецкая поэтесса, окончательно переселяется в Палестину.

В начале 1935 года начинается обмен письмами между Ласкером и известным еврейским ученым Тур-Синаем, которого Ласкер знал еще по Германии под фамилией Турчинер. Речь идет о предоставлении Ласкеру ставки профессора математики в Хайфском Технионе. Дело это, однако, непростое, возможности Тех-

ниона ограничены, к тому же в Палестину хлынул поток еврейских беженцев из Германии с университетским образованием и высоким интеллектуальным уровнем. Переговоры заходят в тупик.

Но есть еще одна страна, где Ласкер бывал неоднократно и о которой сохранил самые лучшие воспоминания. Это – Россия. Конечно, сейчас она превратилась в Советский Союз, но разве не писал «Шахматный листок» еще зимой 1924 года: «Привет величайшему шахматному мыслителю Эмануилу Ласкеру, первому заграничному гостю в шахматной семье СССР!» Разве не встречали его во время той поездки, как никогда и нигде в Европе?

Он помнит очень хорошо и московский турнир 1925 года: толпы восторженных болельщиков, конную милицию, сдерживающую напор толпы, безуспешно пытавшейся проникнуть в Фонтанный зал гостиницы «Метрополь», где играется турнир, гром аплодисментов, крики: «Браво, Ласкер!», когда он спускается со сцены, Капабланку, проводившего в Кремле сеанс одновременной игры, в котором принимали участие члены правительства советской республики. Ласкер принимает решение: после турнира 1935 года он остается в Советском Союзе.

Перед матчем с Таррашем в 1908 году Ласкер писал: «Я поклонник силы, здоровой силы, которая идет на максимальную крайность для того, чтобы достичь достижимого». Конечно, это было сказано тогда о шахматах, но не видел ли он тогда такую силу в Советском Союзе, единственную силу в Европе, могущую противостоять нацизму?

После Ноттингемского турнира 1936 года он писал: «Молодые мастера, и прежде всего Ботвинник, много работают над собой и, безусловно, обогатят наше шахматное мастерство. Я хочу также быть в их рядах, ибо здесь в Советском Союзе, куда я с радостью вернулся, я почувствовал себя как дома».

Престарелому шахматному королю в Москве были оказаны поистине королевские почести. Вскоре, однако, наступили будни. Внешне все выглядит очень пристойно: Ласкер – сотрудник Института математики Академии наук СССР, он зачислен тренером сборной команды страны. Он выступает еще время от времени с сеансами и лекциями; на его лекции в Ленинградской филармонии в 1936 году об итогах матча Алехин – Эйве зал переполнен. Но постепенно его окружает тишина. Вследствие языкового ба-

рьера общение его ограничено только очень узким кругом людей. Они с женой пытаются учить русский язык, но легко ли это, когда тебе уже почти семьдесят. Но дело было, конечно, не только в языке. Смертельная опасность общения с иностранцем была очевидна тогда для каждого гражданина СССР, поэтому те несколько человек, которые осмеливались заходить к нему, очевидно, находились под абсолютным контролем государственной безопасности. Он оказывается в вакууме.

Это было самое горячее время Большого террора, и тот узкий круг, который окружал Ласкера, постепенно редел. Без сомнения, телефон его прослушивался, а домработница Юлия должна была доносить о каждом шаге и каждой встрече его. Тот факт, что он стар и является мировой известностью, не мог служить никакой гарантией в те сюрреальные, оруэлловские времена, когда следователь НКВД заявил в 37-м году еврею-заключенному, вырвавшемуся из фашистской Германии, что «еврейские беженцы из Германии – это агенты Гитлера за границей». В здании, где Ласкер еще несколько месяцев назад играл в шахматы, вереницей шли показательные процессы, и шапки всех газет единодушно требовали смерти.

О тех временах, когда каждодневное исчезновение лиц и личностей стало обычным явлением, сказал позднее Борис Пастернак: «Писать о нем (о происходившем) надо так, чтобы замирало сердце и поднимались дыбом волосы». Мог ли не понять Ласкер того, что понял в те дни Андре Жид: «Не думаю, чтобы в какой-либо стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено». Мог ли не догадываться о происходившем, сам сказавший: «Можно заблуждаться, но не следует пытаться обманывать самого себя!»

В октябре 1937 года Ласкер, проведя в общей сложности около полутора лет в Советском Союзе, уедет в Америку. Формальный повод: повидаться с дочерью жены от первого брака – она ждет их уже в Амстердаме. В воспоминаниях, опубликованных после смерти мужа, Марта Ласкер говорит об этой поездке, как о небольшой экскурсии с непременно возвращением обратно в Москву. Так это не выглядит. Со стороны это похоже, скорее, на бегство.

В Нью-Йорке его ждала другая жизнь. Не было государствен-

ной квартиры, не было и должности тренера сборной страны – фактически оплачиваемой синекуры, и уж точно не было нарядов конной полиции, сдерживающей напор зрителей, стремящихся посмотреть на участников нью-йоркского турнира 1940 года, его последнего турнира в жизни. Зато в Америке он получил взамен кое-что другое: язык, который знал с юности, человеческие отношения, к которым привык, возможность сказать и написать то, что он действительно думает. Свободу.

В 1937 году Левенфиш выигрывает очередное, десятое первенство страны. И снова в турнире не участвует Ботвинник. Он вызывает Левенфиша на матч. Матч заканчивается вничью и Левенфиш сохраняет звание чемпиона СССР. Это звездный час его, и Левенфиш мечтает о международном турнире. Ботвинник играл за границей уже дважды – в Гастингсе и Ноттингеме, да и Рагозину, успехи которого были много бледнее, чем у Левенфиша, было позволено принять участие в турнире в Земмеринге.

Но не спортивные успехи явились решающим фактором в определении участника АВРО-турнира 1938 года. Личные контакты Ботвинника, знакомства в самых высших кругах советской элиты, когда одно письмо или телефонный звонок могли разрешить любую проблему, наконец, принцип: «Советским шахматам нужен только один лидер», его молодость и политическая лояльность решили дело однозначно: на турнир в Амстердам поехал Ботвинник. Сам Ботвинник скажет впоследствии достаточно ясные, но и жестокие слова: «В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными – в этом, вероятно, и заключается подлинное счастье. И я не был одинок – в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне работать. Тогда и возникали конфликты».

Сергей Прокофьев, будучи страстным любителем шахмат, не всегда оставался в роли наблюдателя или пассивного болельщика. Время от времени он выступал в роли шахматного журналиста. Заметка, написанная в те дни для ТАСС об АВРО-турнире, никогда не увидела света. Вот один из абзацев ее: «Можно еще многое сказать о других участниках, но мне хотелось бы упомянуть тут об одном советском шахматисте, который хотя и не сра-

жается в Амстердаме, мог бы там произвести немалые разрушения. Я имею в виду Левенфиша, проявившего исключительные боевые качества в ничейном матче против Ботвинника».

Но не только Левенфиш не поехал на АВРО-турнир. Не был приглашен и Ласкер, окончательно списанный в старики. Комментарий Тартаковера: «Все-таки, даже полуживой Ласкер играет не хуже любого другого силача, да и приглашение Левенфиша (на котором настаивал Капабланка в переговорах с организаторами турнира!) тоже было резонным».

Вероятно, это так и было, но я думаю, тем не менее, что ни семидесятилетний Ласкер, ни Левенфиш, не смогли бы составить конкуренцию представителям молодого поколения – Кересу и Файну, выигравшим турнир, и Ботвиннику, занявшему третье место.

Статья об итогах АВРО-турнира написана Левенфишем. Несмотря на горечь и несбывшиеся надежды, он, как всегда, предельно объективен. Очевидно, что он понимал очень хорошо, какой огромной, всесокрушающей силы шахматистом был Ботвинник. Отдавая должное его игре, он писал в частности: «Особенно следует остановиться на партии Ботвинник – Капабланка, которой был бы обеспечен приз за красоту в любом международном турнире. Это художественное произведение высшего ранга, которое войдет на десятки лет в шахматные учебники. Такая партия, на мой взгляд, стоит двух первых призов и свидетельствует о дальнейшем росте советского гроссмейстера, являющегося теперь бесспорным претендентом на борьбу за мировое первенство».

Однако для самого Левенфиша эта несостоявшаяся поездка в Амстердам означала крах всего. Вот как оценивал это он сам много лет спустя: «Я считал, что победы в девятом и десятом первенствах СССР и ничейный результат в матче с Ботвинником дают мне право на участие в АВРО-турнире. Однако на этот турнир, вопреки всем моим надеждам, меня не командировали. Мое состояние можно было определить как моральный нокаут. Все усилия последних лет оказались напрасными. Я чувствовал себя уверенным в своих силах и, несомненно, боролся бы с честью в турнире. Но мне исполнилось 49 лет и было очевидно, что будущие годы отрицательно скажутся на силе моей игры, и что я теряю последнюю возможность проявить себя. Я поставил крест на

своей шахматной карьере и, хотя в дальнейшем участвовал в нескольких соревнованиях, только в редких случаях играл с подъемом и спортивным интересом».

О тех далеких годах вспоминают Бронштейн, Тайманов, Смыслов. Они знали Левенфиша, когда были молоды, но по-настоящему смогли оценить только сейчас, когда сами пересекли семидесятилетний рубеж. Глядя на человеческую жизнь в полном объеме ее, а не только через чемпионские регалии, титулы и звания.

Давид Бронштейн: «Я следил за партиями Левенфиша еще в 34-м, 35-м годах, когда был совсем ребенком. В 37-м или в 38-м годах он приезжал в Киев и останавливался в гостинице «Континенталь». И я с другими мальчиками пришел в гостиницу, чтобы проводить его на сеанс во Дворец пионеров.

Конечно, он был выдающийся гроссмейстер, и игрок глубокий очень, и аналитик блестящий, но тогда ведь было другое время, другая игра. Чтобы по-настоящему понять, как он играл, надо партии его посмотреть, ведь поколение, идущее на смену уходящему, судит по нему только по дебюту, я и сам так смотрел, а сейчас тем более смотрят, ведь от дебюта теперь фактически все зависит...

Помню, Григорий Яковлевич мне говорил, что Капабланка ему лично приглашение привез на АВРО–турнир, но вмешался в дело Ботвинник; он ведь был как молотобоец, стоял в кругу и махал молотом вокруг головы, всех разгоняя, вот всех и разогнал».

Марк Тайманов считает Левенфиша своим главным учителем в ленинградском Дворце пионеров: «Занятия Григорий Яковлевич вел тщательно, было у него много собственных анализов и записей, я это оценил позже, когда стал заниматься у Ботвинника. Он вообще никогда ничего не показывал. Более того, он давал задания по критическим дебютным позициям своим ученикам и неделю или две на анализ. После чего сопоставлял их выводы с собственными и применял вариант на практике. Он, впрочем, и не скрывал этого, когда после того, как выиграл чемпионат Союза, поблагодарил своих учеников, которые оказали ему помощь в подготовке.

Помню свою первую с Григорием Яковлевичем партию в чемпионате Ленинграда, когда я предложил ему ничью в примерно равной позиции. “Молодой человек, – отвечал Левенфиш, – вы

должны подождать, пока я вам предложу ничью, ведь я много старше вас”. Тогда я робко так сказал: “Получается, что мне и некому предлагать ничью в этом турнире, здесь ведь все старше меня”. Он засмеялся, и через несколько ходов партия закончилась вничью.

Вершиной его творческих достижений безусловно является матч с Ботвинником, здесь он развернулся вовсю. Был Левенфиш шахматистом настоящего масштабного мышления и стратегом глубоким, что в этом матче и показал. Как человек был он саркастичный и малокоммуникабельный».

Василий Смыслов до сих пор помнит партии матча Левенфиш – Ботвинник в 1937 году: «Был Григорий Яковлевич тогда в блестящей форме и играл замечательно, и матч не проиграл, и звание чемпиона сохранил. А ведь известно, что чемпионат страны в Тбилиси был рекомендательным для отправки на АВРО-турнир. Но отправился тогда Михаил Моисеевич куда надо, а у Григория Яковлевича не было столь высоких знакомств, это и сыграло решающую роль. Ботвинник был к тому же очень правильный молодой человек, а Левенфишу к тому времени уже под пятьдесят было, хотя, нет слов, хорошо играл тогда Михаил Моисеевич, но я о правовой стороне вопроса говорю... Да уж, конечно, невыездной был Григорий Яковлевич оттого, что войной пошел на Михаила Моисеевича, опрометчивый поступок совершил. Потому и комментировал Григорий Яковлевич партии, которые я у Ботвинника выигрывал, что и говорить, с немалым удовольствием...

С большим интересом наблюдал я за ним, когда играл с ним сам уже в одном турнире в Ленинграде в 1939 году. Был он для меня примером во всех смыслах. Играли в том турнире и Керес с Решевским. Официально он назывался тренировочным турниром. Решевский спросил еще тогда, отчего турнир называется тренировочным. Ему сказали – оттого, что в турнире призов нет, вот оттого и тренировочный. Помню еще играл Левенфиш с Флором и в эндшпиле грубо ошибся и проиграл партию, хотя техника у него была вообще высокая. Тогда из публики спросили еще, а почему вы здесь так не сыграли, пассивно обороняясь? А он в сердцах отвечал: что же я до утра здесь играть буду, что ли... Но уже через пятнадцать минут сел за другую отложенную с Ильей Рабиновичем и выиграл. И был уже в благодушном настроении. Вижу как сейчас его за анализом, фигуркой так пристукивал, так мол и

так, так и этак. Мог и вспылить Григорий Яковлевич, эмоционален был. Был он игрок, и игрок зачастую азартный, в отличие, например, от Романовского, который больше был романтиком, педагогом, методистом, учениками был окружен. Понимал ли он, что такое советская власть, и в каком государстве живет? Все, все прекрасно понимал Григорий Яковлевич, и лучше многих еще понимал».

Турнир в 1939 году в Ленинграде был последним международным турниром, в котором Левенфиш принял участие. Международным, впрочем, его можно было назвать очень условно: иностранцами были фактически только Керес, выступавший за пока независимую Эстонию, да американец Решевский. Флор и Лилиенталь уже жили в Советском Союзе, который был представлен еще четырнадцатью участниками. Но даже если и так, всего международных турниров набралось у Левенфиша пять за всю карьеру, еще три московских и тот далекий памятный в Карлсбаде в 1911 году. Его шахматная карьера фактически закончена. В девяти предвоенных чемпионатах страны он дважды был первым, два раза вторым, три раза третьим. Левенфиш играл с шестью чемпионами мира. Баланс этих встреч таков: с Ласкером, Эйве, Алехиным – равный, с Капабланкой (-1), со Смысловым (+1), более чем два десятка партий с Ботвинником дали небольшой перевес последнему, выигравшему восемь партий, проигравшему шесть, при восьми ничьих.

Через несколько лет Левенфиш был вынужден снова на несколько лет отказаться от шахмат: началась война. Сам он скажет впоследствии об этом периоде: «Тяжелые годы Отечественной войны и работы на заводе окончательно подорвали мое здоровье. Я уже не в силах был выдерживать напряжения борьбы в длительном состязании. Я мог провести неплохо отдельную партию, но затем утомлялся и отдавал очки без боя». Сразу после окончания войны Левенфиш возвращается в Ленинград. Здесь его увидели впервые совсем молодые Корчной и Спасский.

Виктор Корчной занимался с Левенфишем в 1946 году: «Было мне тогда пятнадцать лет; помню еще – смотрели мы каталонскую... Вижу его хорошо и в клубе за карточной игрой – винт – это русский вариант бриджа. Произвел он на меня тогда впечатление человека очень высокой культуры, остроумного и раз-

витого во всех отношениях. Я понял, что это человек из другого мира, когда узнал Ботвинника; тогда я начал сравнивать. И сравнение это было не в пользу Ботвинника, который казался по сравнению с Левенфишем человеком неглубоким, и юмор у него был какой-то мелкотравчатый. И был Ботвинник таким советским интеллигентом, которых насаждали, в отличие от Левенфиша, интеллигента по крови и по воспитанию дореволюционному, которых большей частью уничтожали. Он видел вещи шире, мыслил по-другому, иностранными языками владел...

Пиком карьеры можно считать его матч с Ботвинником, после чего он в Амстердам должен был поехать на АВРО-турнир. Но Ботвинник пошел куда следует, и все стало на свои места, и не поехал Левенфиш ни на какой турнир. Такие люди, как Левенфиш, так бы никогда не поступили, в этом смысле я и Таля очень высоко ценю, потому что он – один из немногих, кто такое оружие тоже никогда не применял.

Как шахматист, был Левенфиш, конечно, тактиком. Но как культурный человек и культурный шахматист он владел всеми методами борьбы, но как тактик он был особенно сильный. Нет, он не был желчный человек, у него было резкое чувство юмора, но желчный – нет. Меня он, во всяком случае, не обижал никогда. Я выиграл у него несколько партий, но он достойно вел себя после поражений, корректен оставался всегда, хотя я был тогда мальчишкой по сравнению с ним.

Но и он у меня фантастическую партию выиграл в 53-м году. Нанес колоссальный тактический удар, написал еще потом в примечаниях, что такой, мол, Корчной тактик отличный, а вот удар просмотрел...»

На Бориса Спасского Левенфиш произвел огромное впечатление, когда в Ленинграде во Дворце пионеров показывал партию Алехин–Ейтс, блестяще выигранную Алехиным: «И партию я эту навсегда запомнил, и манеру, в которой Левенфиш партию эту показывал, доступную и скромную одновременно. И шахматисты это чувствовали и уважали очень Григория Яковлевича. А вот Ботвинника, наоборот, терпеть не могли, кроме, разумеется, тех, кто его лично не знал, а оглушен был фанфарами или информацией из газет только черпал. И манера его изложения была подавляющая, безапелляционная. И как Левенфиш к Ботвиннику относился – понятно и, когда молодой Миша у Ботвинника матч

выиграл, радовался Григорий Яковлевич очень и не только потому, что Таль свежую струю в шахматы внес.

Зак ведь хотел меня сначала Левенфишу передать, и у меня встреча с ним была. Было все это в 1951 году, мне тогда было четырнадцать лет, помню партии ему свои показывал, варианты, горячился очень, совсем как молодой Каспаров. Мы ведь все гениями были в молодые годы. И еще раз был после этого у него и смотрел на него во все глаза...

Обладал он огромным природным талантом и игроком был выдающимся. Левенфиш ведь Ботвиннику в 1937 году матч не проиграл, а тот ведь тогда в расцвете сил был. Инициативу чувствовал прекрасно, играл по позиции, но тяготел к тактике. Поведения за доской был безукоризненного – по части разговоров, полуподсказок, некорректного предложения ничьей – терпеть этого не мог. Это уже потом после него росло новое поколение, шпанное. С болтовней во время игры, сплетнями и все такое...

А то, что был он жесткий, колющий на словах, то как ему было не быть колючим, когда его советская жизнь фактически уничтожила. В душе же был отзывчивый и очень тонкий. Все его уважали очень, и не случайно первый вопрос, который мне Богатырчук в Канаде в 1967 году задал, был о Левенфише. Когда я сказал, что Григорий Яковлевич вот уже несколько лет как умер, отвечал Богатырчук: “Жалко. Мы ведь так хорошо понимали друг друга”. Таких, как Левенфиш, были единицы. Все, что я о нем знаю, это только хорошее и представить себе не могу, чтобы о нем что-либо, кроме хорошего, можно было сказать. Сделал он для меня великое дело: когда я мальчонкой еще был, стипендию мне пробил. Одно слово – светлая личность. Но и трагическая. Был он настоящий шахматный великомученик. Я бы и название такое дал для статьи о нем: “Шахматный великомученик”. Сохранил я к нему огромное уважение на всю жизнь».

В 1947 году Левенфиш в качестве запасного советской команды выезжает в Англию, чтобы принять участие в матче Англия – СССР. Это был первый выезд Левенфиша за пределы Советского Союза. Кроме неприятностей, он ему ничего не принес.

В жизни случается иногда, что события маловажные, незначительные имеют для нас неожиданные, далеко идущие последствия. В 1910 году в Вильно Левенфиш играл матч с шахматистом по

фамилии Лист. Как утверждал сам Лист, его настоящая фамилия была Одес, и родом он был тоже из Одессы. Чтобы избежать путаницы с получением писем (Одесу в Одессу), он изменил свою фамилию. Как бы то ни было, матч закончился вничью и почти стерся в памяти Левенфиша. Спустя 37 лет в Англии он повстречал старого знакомого, радостно бросившегося ему навстречу. Сцена эта не осталась незамеченной ни для руководителей советской команды, ни для кое-кого из гроссмейстеров, оповещавших обо всем предосудительном органы безопасности. Поведение советского гражданина за границей всегда было строго регламентировано, здесь же нарушение было налицо: старая связь и контакт с представителем капиталистической страны, идеологически враждебной Советскому государству. Левенфиш вспоминал позднее в доверительных беседах, что у него были «большие неприятности». Больше за границу он не выезжал. Вскоре он переехал в Москву, но и здесь его ждали нелегкие времена.

Александр Константинопольский: «Со стороны спортивных властей Левенфиш постоянно встречал предвзятое, а то и недоброжелательное отношение. Он был колюч на язык, любил резать правду-матку, а это не могло нравиться».

Единственный из советских гроссмейстеров он не получал стипендию. «Жил он очень бедно, – вспоминает Яков Нейштадт, – в комнате с дровяным отоплением в коммунальной квартире. Иногда его можно было встретить в Артистическом кафе в Камергерском переулке напротив Художественного театра. И здесь он выделялся по осанке, манерам, умению вести беседу. Левенфиш был, конечно, аристократом по духу и воспитанию. Он очень нуждался, но никогда ни на что не жаловался».

Василий Смыслов: «Высокоинтеллигентный человек был Григорий Яковлевич, а жизнь вел бедную. Трудную жизнь. Был он загнан жизнью и нуждался материально. Выступал он во многих местах, чтобы деньги заработать, и на старости лет был вынужден делать это. Относился он ко мне с большой теплотой, да и я любил его очень».

Уже в последние годы свои пришел он ко мне как-то с кипой листов – манускриптом книги своей по ладейному эндшпилю, попросил проверить. И провели мы с ним так много дней под лампой из северского фарфора за анализом, за разговорами. Это он сказал, что фарфор северский, я знал, что лампа старинная, а вот

Григорий Яковлевич сразу определил. Я проверял анализы его, где и уточнял, но всю черновую работу он сделал. Единственный раз не могли придти к соглашению, как написать – обрезанный король, отрезанный король, – смеялся все Григорий Яковлевич...

До сих пор сердце грызет, что не был на похоронах его. Помню, была отложенная позиция, кажется с Хасиным, я доигрывал ее в день похорон, все пытался выиграть, да и не выиграл, конечно. Вот до чего тщеславие-то человеческое доводит.

А то, что с Ботвинником вничью матч сыграл, когда тот был в самом соку, свидетельствует о технике высочайшей его и мастерстве. Можно ли сказать, что был незаурядного таланта Левенфиш? Да мало того – выдающегося – вот верное определение. И память о себе оставил Григорий Яковлевич самую светлую».

В этот период Левенфиш много занимается литературной деятельностью. Еще в 1925 году появился его учебник для начинающих, а в 1940 году под редакцией Левенфиша выходит монументальный «Современный дебют», явившийся прообразом сегодняшней Энциклопедии шахматных дебютов. Издание его прервала война, вышел только первый том. Он был посвящен открытым началам. Это была фактически первая вручную набранная база данных по состоянию теории на то время. Разница была в том, что Левенфиш словами объяснял то, что скрыто сегодня за бездушными значками, стремясь ответить на вопрос, наиболее важный для изучающего: почему?

Его мысли, высказанные более полувека назад, о начальной стадии партии, которой и сегодня любители и профессионалы уделяют почти все время занятий, звучат на редкость актуально: «Изучение дебютных систем достигло такой высокой степени развития, что переход в миттельшпиль, а иногда и в эндшпиль, предопределяется разыгрыванием дебюта. Поэтому подчас никакая изобретательность в миттельшпиле не может компенсировать дебютных погрешностей. Однако не следует превращать дебют в какой-то фетиш и всю свою энергию тратить на изучение дебютных систем».

Помимо «Курса дебютов», Левенфиш написал еще несколько книг и немалое количество статей. Книга по теории ладейных окончаний, написанная совместно со Смысловым, до сих пор считается одним из лучших справочников по эндшпилю. Для манеры

изложения Левенфиша характерна ясность мысли, короткие, отточенные фразы, четко передающие смысл, высокая культура слога. Все эти качества в сочетании с неизменной доброжелательностью к аудитории и юмором в еще большей степени проявлялись, когда он читал лекции или просто вел занятия. Романовский вспоминал впоследствии: «Попытки ассоциировать шахматное мастерство с мастерством педагогическим – великое заблуждение. Сочетание высокой педагогики и большого мастерства имеются только у одного человека – это у Левенфиша».

Но Левенфиш пишет не только о проблемах совершенствования шахматиста или на теоретические темы. В майском номере журнала «Шахматы в СССР» 1950 года появилась его рецензия на недавно вышедшую книгу избранных партий Ботвинника. Скорее это была статья, выражающая взгляды Левенфиша на творчество не только Ботвинника, но и Чигорина, Алехина, Рубинштейна, на отношение общества к шахматам и на то, что понималось под определением «советская шахматная школа». Он писал эту статью во время, когда отсутствие свободы печатного слова было само собой разумеющейся составной частью повседневного обихода, но он, прямой и эмоциональный, сохранил свойство говорить и писать то, что думал. С постоянной оглядкой, разумеется, на границы, которые не могли быть перейдены ни в каком случае.

Проследивая путь тогдашнего чемпиона мира, Левенфиш писал: «В 16 лет Ботвиннику присуща трезвость и, можно сказать, сухость шахматного мышления, аналитический талант, самокритичность, трудолюбие и большая теоретическая эрудиция – он уже сложившийся мастер с определенными вкусами. Ботвинник быстро ликвидирует погрешности первых лет – тактические просчеты, углубляет понимание позиционных тонкостей, улучшает технику эндшпиля и к 20 годам завоевывает первенство СССР. В 25 лет Ботвинник уже победитель международных турниров и претендент на мировое первенство». И далее: «В чем же главная сила Ботвинника? В чем секрет его побед над сильнейшими шахматистами мира? (...) Неизбежно напрашивается вывод, что до сих пор противники чемпиона мира не смогли разрешить первую основную задачу – противопоставить дебютной стратегии Ботвинника равноценную и поневоле переходили в середину игры с худшими возможностями. Но и в этой стадии партии мастерство Ботвинника стоит на весьма высоком уровне. Техника накопления мел-

ких преимуществ и превращения их в победу напоминает лучшие партии Рубинштейна и Капабланки». (...) «Книга Ботвинника – это торжество силы, логики и анализа. Показательно, что даже когда Ботвинник идет на обоюдоострые варианты, к которым его противники заранее готовятся, – и тогда анализ Ботвинника торжествует».

Такая характеристика его творчества задела Ботвинника чрезвычайно. Хотя и позитивная, она выделялась действительно в сплошном панегирическом хоре, раздававшемся со страниц всех изданий того времени, объявлявшим Ботвинника прямым наследником Чигорина и Алехина. Но и сейчас, полвека спустя, она, как мне кажется, очень точно и объективно рисует нам портрет одного из самых значительных чемпионов за всю историю игры. Но прежде чем ответить самому, Ботвинник дал возможность выступить Рохлину и Романовскому. Если последний ограничился в основном теоретическими и историческими экскурсами, то Рохлин обрушил на Левенфиша аргументы другого калибра. Он писал в частности: «На протяжении многих лет Г.Я. Левенфиш не смог увидеть в творчестве Ботвинника и других молодых советских мастеров того принципиально ценного и оригинального, что открывает в наши дни новую главу в истории шахмат». (...) «Не случайно мы подчеркиваем научный подход к шахматам как отличительную черту советской шахматной школы. В этом отношении Ботвинник, как новатор шахматной мысли, подобно многим другим деятелям советской культуры, хорошо помнит замечательные слова товарища Сталина о науке, которая «не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». Вслед за Романовским и Рохлиным последовали реплики и других, менее известных. Околошахматная грязь была всегда, во все времена, но в нешуточные – Советского Союза – она приобрела особый зловещий оттенок.

Последнее слово произнес сам чемпион мира в статье «По поводу трех выступлений» с подзаголовком, типичным для тех времен «В порядке критики и самокритики». Он писал: «...не о “проблеме Ботвинника” должна идти речь, а о советской шахматной школе». «Советские мастера, перед которыми была поставлена нашей партией, советским народом серьезная цель – завоевание первенства мира, могли ли развивать подобные “творческие” тенденции? Конечно, нет. Мы должны были побеждать иностранных

мастеров, и побеждать наверняка». (...) «Гроссмейстер Левенфиш игнорирует в рецензии эти факты, игнорирует и советскую шахматную школу – очевидная и принципиальная ошибка рецензента».

После аргументов такого калибра, хорошо знакомых Ахматовой и Пастернаку, Шостаковичу и Прокофьеву, какие-либо дискуссии исключались, и можно было ожидать только последствий. В обществе, где в жертву понятиям абстрактным приносились живые люди, реакция могла последовать самая суровая; участь Дефо, стоявшего в Лондоне триста лет назад за свои политические памфлеты по часу в день у позорного столба, могла бы показаться завидной. Это были жестокие времена в истории Советского Союза, которые за весь 74-летний период существования государства никогда не были особенно либеральными. Дело кончилось только проработками, и было скорее удивительно, что против него не были предприняты более суровые меры.

Последние годы Левенфиша прошли в работе – писании статей и книги и — в нужде. Пришла старость, но жила еще боль от прожитой жизни. За все эти годы он закалился и как бы окаменел и тоже мог бы сказать: «Я здоров, пока сердце выдержало даже то, чего я не описал».

В 1961 году Борис Спасский играл в первенстве СССР. В один из последних дней января в подземелье московского метро он увидел Левенфиша: «Постаревший, бледный, как привидение, он шел, держась руками за лицо. “Мне только что удалили шесть зубов”, — только и мог сказать он...»

Через несколько дней Григорий Яковлевич Левенфиш умер.

Вспоминая 3-й московский турнир 1936 года, Ботвинник писал: «В июне в Москве стояла сильная жара, и играть было трудно. Жарко было и в Колонном зале Дома Союзов, где проходил турнир, жарко было и по ночам. Я переутомился и страдал от бессонницы».

Но от бессонницы страдал не только Ботвинник. Не спал и Эмануил Ласкер: живя в Германии, он привык засиживаться допоздна в шахматных кафе, в Москве же такой образ жизни был невозможен, а на склоне лет нелегко менять привычки. Довольно часто к нему заходил Левенфиш, и они проводили долгие вечера за шахматами или в разговорах. Иногда, уже глубокой ночью,

Ласкер предлагал: «Пойдемте пить кофе». – «В Москве? В это время?» – пытался вернуть его к реальности собеседник. «Пойдемте, пойдемте, я знаю местечко, – доктор заговорщицки улыбался, – буфет на Киевском вокзале открыт до трех часов ночи».

Два человека с характерной внешностью идут спящим городом. Два символа времени, прожившие большую часть жизни в городах, названия которых олицетворили историю двадцатого века: Берлин и Петербург-Ленинград. Через три года начнется Вторая мировая война. Еще двумя годами позже Ласкер умрет в Нью-Йорке. Он никогда не увидит страну, в которой прожил почти всю жизнь. Левенфиш переживет его на двадцать лет и умрет в Москве. Несмотря на погромы, инфляции, войны и революции, несмотря на жестокие режимы, установившиеся в странах, где они жили, оба они перешагнут отмеренную границу библейского возраста – семидесяти лет.

Но сейчас они еще не знают этого.

Они пьют кофе. Они разговаривают по-немецки.

Москва. Киевский вокзал. Ночь. Жаркое лето 1936 года.

В августе 1991 года, когда Ботвиннику исполнилось восемьдесят, он был в Брюсселе. Через несколько дней он приехал в Голландию. Туристское лето еще не кончилось, и амстердамское такси медленно продвигалось по направлению к центру, пока окончательно не остановилось у Монетной башни.

«Посмотрите, Михаил Моисеевич, – сказал я, – налево цветочный рынок, а прямо на углу – отель «Карлтон». Когда Эйве исполнилось восемьдесят лет, здесь был большой прием. Макс так замечательно выглядел, кто бы мог подумать, что уже через несколько месяцев...» – «Геннадий Борисович! – Ботвинник сидел рядом с шофером и смотрел прямо перед собой, – я был в гостинице «Карлтон» в 1938 году. Вас тогда еще на свете не было. На следующий день после окончания АВРО-турнира мы пили там чай с Алехиным и договаривались об условиях матча на первенство мира... М-да, дела давно минувших дней, – он вздохнул, – преданья старины глубокой».

Машина тронулась.

Август 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Две жизни	3
Мой Миша	18
Путь в бессмертие	30
«Работать, надо работать...»	52
Шахматный король Одессы	66
Я знал Капабланку...	82
Учитель	102
Страсть	119
Маэстро	136
Прыжок	155
Подводя итоги	170

Генна Сосонко

Я знал Капабланку...

Редактор Л.В.Ворченко
Корректор С.А.Мишина
Оригинал-макет Н.В.Горожий

Подписано в печать 28.05.2001. Формат 60х90_{1/16}. Гарнитура Times.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 14,0. Тираж 2500 экз.

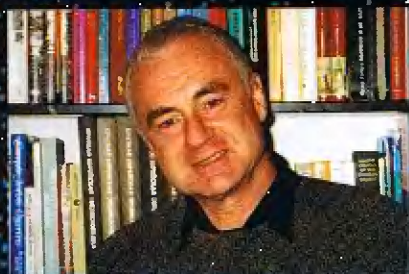
Оригинал-макет и печать -- издательство «Левша. Санкт-Петербург»

Лицензия № 000093 от 05.03.99.

197376, Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 6

тел./факс (812) 234-54-36

E-mail: levsha@mail.line.ru



Имя автора этой книги хорошо известно в Голландии. Генна Сосонко — международный гроссмейстер, двукратный чемпион страны, двукратный победитель турнира в Вейк-ан-Зее, имеющего репутацию одного из сильнейших в мире, победитель турниров в Барселоне, Лугано, Поляниде-Здруй, призер многих международных турниров, в том числе супертурнира в Тилбурге. Дважды принимал участие в межзональных турнирах на первенство мира. С 1974 года играет за команду Голландии в Олимпиадах и первенствах Европы. Начиная с 1995 года и до настоящего времени — ее бессменный капитан.

Все это — его «вторая жизнь», которая началась после эмиграции из Советского Союза в 1972 году. Первая — проходила в Ленинграде, где он начал играть в шахматы, стал мастером, тренировал Таля и Корчного, вторая — в Амстердаме, где он живет в настоящее время.

Почти все эссе-воспоминания, вошедшие в эту книгу, увидели свет в издательстве «New in Chess» на английском языке и получили высокую оценку критики. Часть из них печаталась также в голландских, чешских, польских, русских журналах, но большинство — незнакомо русскоязычному читателю.

Два эссе написаны специально для этой книги и публикуются впервые.

В эссе «Две жизни» сам автор так пишет о мотивах, побудивших его к написанию книги: «Всякий раз после того, как те, о ком идет речь в этой книге, уходили из жизни, мне хотелось прочесть о них. Позже я понял, что хочу прочесть о них то, что знаю сам. Более того — то, что знал только я. Лишенный этой возможности, я решил написать о них: Отсюда — эта книга».